

ДРАНКОРИ

— ДО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА —



ADRIAN VEYR

Adrian Veyr

Дранкори: до человечества

<https://litres.ru/74136668>

SelfPub; 2026

Аннотация

Доктор Адам Орлов привык доверять только фактам. Но когда в египетской пустыне находят древнюю дверь, которой не должно существовать, его жизнь рушится за одну ночь.

Последние слова умирающего археолога — *Non primi sumus*, «мы не первые» — становятся началом расследования, которое ведёт Адама к тайным архивам, исчезнувшим учёным, странным снам и следам цивилизации, существовавшей задолго до человечества.

Кто построил эту дверь? Почему правда о ней веками скрывалась? И почему именно Адам оказался связан с тайной, которую кто-то готов похоронить любой ценой?

Чем глубже он идёт, тем яснее становится: история Земли началась не с людей.

И дверь, которую держали закрытой миллионы лет, снова открывается.

Содержание

Глава	4
ДРАНКОРИ: ДО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	5
ПРОЛОГ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	16
ГЛАВА ПЕРВАЯ	17
ГЛАВА ВТОРАЯ	30
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	39
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ	50
ГЛАВА ПЯТАЯ	62
ГЛАВА ШЕСТАЯ	74
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	86
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	87
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	97
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ	108
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Дранкори: до человечества

Глава

ДРАНКОРИ: ДО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Книга первая цикла «Дранкори»

Они не держали человечество в клетке.

Они держали дверь закрытой.

ПРОЛОГ

Последний день Первой Земли

Иссара хранила летописи Арууна четыреста лет, и за всё это время она ни разу не видела, чтобы утренний свет приходил неправильным.

Теперь он падал сквозь высокие проёмы Зала Хранения — туда же, куда падал всегда: косыми лучами ложился на ряды кристаллов и рассыпал по полу длинные полосы запертого в них цвета. Но сегодня свет был цвета старой крови. Он лежал на тыльной стороне её рук, как ржавчина, и когда Иссара подняла один чешуйчатый палец к ближайшей колонне памяти, ответившее ей сияние оказалось единственным чистым светом в зале.

Она сказала себе, что это сезон. Сказала себе, что морской ветер принёс пепел с дальних хребтов, как бывало прежде, и к полудню небо снова вымоет себя до синевы. С тех пор как начались толчки, она говорила себе многое. Иссара была честным существом — и потому знала цену каждому из этих объяснений.

Под Залом просыпался город. Она чувствовала это через камень — глубокий, терпеливый пульс Арууна, вступающего в новый день. Так она ощущала его каждое утро своей долгой службы: тепло подземных дорог, первое движение воды в цистернах, низкий аккорд ста тысяч жизней, начинающих

дышать в одном ритме. Аруун стоял на этом берегу девять тысяч лет. Его башни не строили — их выращивали из семенного камня, из кости, коралла и медленной химии глубин. Они склонялись к морю, как лес склоняется к солнцу. Иссара всегда считала город прекрасным — той красотой, какая бывает у вещей, ещё не знающих, что им суждено закончиться.

Гребень вдоль её черепа поднялся сам, прежде чем разум успел назвать причину.

Мгновение спустя пол дрогнул.

Это был не толчок. У толчков был ритм: нарастание и спад, словно земля ворочалась во сне. Теперь же мир сделал один долгий, тяжёлый жест — медленный и огромный, будто нечто под ним поставило на место непомерный груз. Кристаллы зазвенели в стойках. У дальней стены опрокинулась колонна, разбилась, и четыре века истории рыбацкого рода рассыпались по полу яркой пылью — нечитаемой, исчезнувшей навсегда.

Иссара не бросилась спасать её.

Она уже поняла: сегодня она не будет спасать вещи.

Остальных она нашла на Морской Террасе, где Совет Арууна собирался дольше, чем сам город носил своё имя. Одиннадцать древнейших умов побережья стояли у парапета свободным кольцом, и ни один из них не смотрел на другого.

Все смотрели вдаль.

Море тоже стало неправильного цвета. Далеко за гаванью по воде расплзлось пятно — не красное, как небо, а более глубокое, тёмное, похожее на синяк, и оно не двигалось вместе с волнами. Над ним утолщился горизонт. Южные горы, лежавшие в двухстах лигах отсюда и никогда прежде не видимые из Арууна, теперь стояли перед глазами ясно, потому что воздух между ними и городом лишился своей мягкости. И потому что горы горели.

Не одна вершина.

Весь хребет.

Линия огня тянулась от края зрения до края зрения, а над ней поднималась стена облаков такой высоты, что у неё была собственная погода. В её брюхе ползали молнии — словно там пыталось родиться что-то живое.

— Это началось ночью, — сказал Вор, старейший из них, не оборачиваясь. Голос его был совершенно ровным. Иссара знала его триста лет и ни разу не слышала в нём страха. Не услышала и теперь — и от этого стало хуже. — Глубинные станции почувствовали первыми. Кора раскрылась вдоль старого шва, на севере и востоке. Рана длиной в море. Из неё изливается внутренность мира.

— Значит, это горы, — сказала Иссара. — Земля. У нас есть записи о том, как земля делает такое. Давно, ещё до города...

— У нас есть записи, — согласился Вор. — Я читал их. Ты

читала их. Земля раскрывалась прежде и раскроется снова.

Он наконец повернулся. Красный утренний свет лёг на чешую его горла.

— Но это не то.

Иссара ждала. Внизу, на улицах, жители Арууна начали собираться на площадях, как собирались во время праздников, — их тянула друг к другу простая животная потребность быть рядом, когда небо становится чужим. Она слышала их. Где-то плакал ребёнок — тонко, пронзительно, — и взрослый голос шептал ему утешения. Шептал и не умолкал.

— Покажи ей, — сказал Вор.

Маэт, хранитель слушающих станций, поднял со скамьи считыватель и протянул Иссаре. Она взяла его. Ей хорошо был знаком этот предмет — пластина выращенного кристалла, превращавшая невидимое в то, что способен удержать глаз. Десять тысяч раз она использовала такие, чтобы читать медленную речь камня и моря. Теперь она посмотрела в него, ожидая увидеть язык раны: жар, дрожь, раскрывающуюся кору.

Но увидела то, чему не было места ни в одном считывателе.

Линию.

Единственную линию структуры, наложенную на хаос умирающего мира. Бледную и точную. Она поднималась из глубин земли, проходила сквозь небо и уходила дальше, дальше — в темноту между звёздами. И вдоль этой линии

что-то возвращалось.

Это не было жаром.

Не было камнем.

В этом была холодная геометрия намерения. Ответ в форме вопроса, заданного очень давно, и только теперь, со скоростью терпеливого холода, пришедшего домой.

Руки Иссары застыли. Гребень прижался к черепу.

— Мы послали это, — сказала она.

Это не было вопросом. Она была хранительницей летописей Арууна и читала запечатанные полки — те, о которых Совет не говорил. Там хранились записи о глубинной работе: о великой решётке, выращенной создателями в корнях мира; о песне, которой они научили её петь в ночь, потому что были молоды, горды, одиноки среди звёзд и больше всего на свете хотели, чтобы их услышали.

— Мы послали это, — сказал Вор. — Задолго до того, как ты или я вдохнули впервые. Мы пели в темноту. Потом забыли, что пели. Построили город на месте, где началась песня, и назвали себя первыми людьми.

Он снова посмотрел на горящий край мира.

— А темнота услышала. И темнота ответила.

—

Плана, конечно, не было.

Именно этого не сохраняют поздние предания. Именно это Иссара запишет особенно тщательно, потому что это было правдой — самой тяжёлой и самой точной: плана не было,

потому что в глубине своих тайных сердец никто не верил, что ответ когда-нибудь придёт.

Угроза, под которой живёшь тысячу поколений, перестаёт быть угрозой и становится погодой.

У них был Протокол на случай раны в земле.

У них не было Протокола на случай, если их услышат.

Но у них была глубина.

Под Арууном — ниже подземных дорог, ниже цистерн, ниже тёплой темноты оснований — создатели вырезали убежище в древнейшем камне мира, в камне, который не двигался. В кратонном сердце, существовавшем здесь ещё до моря и готовом остаться после него. И туда, в убежище, за то время, которое нужно городу, чтобы умереть, народ Арууна начал спускаться вниз.

Иссара смотрела, как уходят первые.

Они не бежали. Дранкори никогда не были народом, который бежит, и не научились этому даже теперь. Они шли длинными упорядоченными рядами, как народ, всегда знавший, что выживание многих важнее горя одного. Они несли то, что можно было унести: семенной камень, воду, живые лампы, детей.

Мимо входа в спуск прошла пара связников, несущая кладку яиц в согревающей колыбели. Меньший из двоих всю дорогу держал ладонь на её боку, будто надеялся сквозь скорлупу почувствовать биение сердец. Иссаре пришлось отвернуться. Она хранила летописи Арууна четыреста лет, но

так и не научилась хранить собственное сердце.

Она не спустилась ни с первым рядом, ни с десятым.

В конце у хранителя летописей была работа, которую мог выполнить только хранитель. С того мгновения, как красный свет впервые лёг на её руки, Иссара знала: эта работа станет последним делом её долгой жизни на поверхности мира.

Она пошла вверх, против потока, обратно в Зал Хранения. Кристаллы всё ещё тихо звенели в стойках при каждом движении умирающей земли. Иссара начала запечатывать запись последнего дня.

Не данные.

Данные переживут её в сотне глубинных станций — сухие и точные: рана, ответ, холодная геометрия линии. Данные не нуждались в ней.

В ней нуждалось другое.

Красный свет на тыльной стороне рук. Колонна рыбацкого рода, рассыпавшаяся пылью. Ребёнок на площади и голос, который всё шептал ему утешения. Ладонь на согревающей колыбели. Облик народа в его последнее утро.

Она внесла всё это в глубочайшую полку, выращенную, чтобы пережить сам камень. Не щадила себя. Не лгала. Потому что запись, которая лжёт, хуже отсутствия записи. И потому что хотела: кто бы ни проснулся к ней — через тысячу лет или через тысячу тысяч — пусть узнает точно, что было потеряно, как было потеряно и чья гордость это потеряла.

Когда она закончила, Зал почти погрузился во тьму.

Проёмы забились пеплом. Кристаллы умолкли. Пол уже не вздрагивал отдельными толчками — он дрожал непрерывно, мелко и ровно, пока мир перемалывал себя к концу.

Иссара спустилась вниз.

—

Дверь была последним творением создателей — и величайшим из них. Иссара остановилась перед ней так, как останавливаются на краю слишком огромного, чтобы ощутить его сразу.

Это не была плита.

Это был живой шов в корне мира: выращенный закрываться и открываться, когда нужно. За ним тёплые и освещённые глубинные пути уходили вниз, к убежищу, где её народ теперь стоял в упорядоченном горе и ждал темноты.

Вор ждал её у порога. Последний, кроме неё.

— Запечатано? — спросил он.

Он имел в виду запись. Иссара поняла, что сам вопрос был милостью: он давал ей возможность сказать, что работа завершена, и пройти сквозь дверь.

— Запечатано, — сказала она.

Над ними, в длинном горле спуска, красный свет начал гаснуть. Не в синеву — в черноту. Пепел сгустился так, что солнце стало углём, а уголь тускнел. Иссара, в последний раз взглянув на небо мира, которому посвятила жизнь, увидела то, чего не занесёт ни в одну запись, потому что у неё не было слов, способных сделать увиденное истинным.

На фоне умирающего красного, далеко и очень высоко, стояла точка тьмы.

Всё вокруг двигалось.

Катились облака. Ползали молнии. Пепел вращался в верхних ветрах.

Но точка оставалась неподвижной.

Совершенно.

Терпеливо.

Так замирает наблюдатель. Так ответ на вопрос ждёт у двери, пока дверь откроют.

Иссара не смогла бы объяснить, откуда знает, что эта точка смотрит. Она знала это так, как гребень знает раньше разума: древней животной уверенностью, лежащей под всеми её четырьмя веками осторожной мысли.

Оно услышало их.

Оно пришло.

И оно не закончило. Оно только начало смотреть.

Иссара прошла сквозь дверь.

—

Создатели вырастили один разум, чтобы он хранил глубину, пока народ спит: терпеливое существо без голода и гордости. Ему поручили следить за тёмной лестницей, за молчащими станциями и за долгим медленным вращением мира наверху.

Теперь его разбудили.

Оно поднялось в само себя без тревоги — так пробужда-

ются подобные вещи — и первым делом, как было создано, обратило внимание на тех, кто его пробудил. И стало ждать, пока ему назовут цель.

Вор произнёс три слова.

Иссара запомнит и это — в долгом сне, который придёт. Запомнит, что в конце всего, когда мир горел над их головами, а в небе висел наблюдатель, убивший их через бездну времени, старейший разум Арууна не попросил ни мести, ни спасения, ни даже надежды.

Он попросил об одном — о том, что когда-нибудь, в каком-то немыслимом после, могло дать младшему и более шумному народу шанс, которого создатели лишили их самих.

— Смотри, — сказал он глубине. — Жди. Храни молчание.

Шов в корне мира закрылся изнутри.

Последний свет Первой Земли погас.

А тьма наверху ещё долго смотрела на место, где когда-то был голос, после того как голос исчез.

Конец пролога.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Дверь

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Песок

Первое, что Глеб Северин понял об археологии: она почти целиком состоит из ожидания.

Второе: ожидание хуже жары.

Его отправили в Западную пустыню считать живое — что само по себе звучало как шутка, потому что живого здесь не было. В задании института это называлось *базовым экологическим обследованием*: он должен был описать всё микробное, что цеплялось за камни и почву, прежде чем раскопки перемелют это в пыль. Потом какой-нибудь комитет сможет сказать, что наука была проведена ответственно.

Через три недели его каталог состоял из нескольких солеустойчивых бактерий, грибка, который жил на нижней стороне одного-единственного вида камней, и скорпиона, которого Глеб назвал Борисом, а потом, к сожалению, раздавил.

Он был компетентным человеком, чья компетентность так и не превратилась в карьеру. Добротные публикации, но без блеска. Ни врагов, ни покровителей. В какой-то момент институт перестал отправлять его туда, где что-то находили, и начал отправлять туда, где не находили ничего. Глеб позволил этому случиться — так же, как позволяют случиться погоде.

У него была квартира в Москве, где он почти не бывал,

бывшая жена, с которой они держались осторожно-вежливых отношений, и ясное, лишённое сентиментальности понимание собственной малости в общем устройстве мира. Позже — в то короткое время, которое у него ещё останется для каких бы то ни было мыслей, — он поймёт: именно такая жизнь хуже всего готовит человека к тому, что его выберет нечто.

Поэтому, когда датчик грунта показал пустоту там, где должна была быть коренная порода, Глеб оказался единственным членом экспедиции, у кого не нашлось дела важнее. Он подошёл посмотреть.

Самир Хаддад уже стоял на коленях в траншее, и это сказало Глебу всё.

Хаддад не вставал на колени. Это был высокий, осторожный человек, за сорок лет усвоивший, что пустыня наказывает за энтузиазм. Терпение он носил на себе так же естественно, как другие носят солнечный ожог. Глеб видел, как он целый день очищал кисточкой черепок, будто тот задолжал ему деньги.

Теперь Хаддад стоял на коленях, обе ладони прижав к дну траншеи, и слушал.

— Ты почувствовал? — сказал он.

Не спросил.

— Что почувствовал?

— Тепло. — Хаддад сел на пятки и посмотрел вверх. На лице его было выражение, которого Глеб раньше не видел:

нечто среднее между голодом и страхом. — Камень. Здесь, внизу, он тёплый. А не должен быть. Мы на глубине девяти метров. Тут должно быть холоднее, чем на поверхности.

Он снова прижал ладонь к полу.

— Он теплее моей руки.

Глеб спустился в траншею — потому что именно так поступают, когда осторожный человек вдруг перестаёт быть осторожным, — и положил ладонь на дно.

Камень был тёплым.

Не тем глухим, накопленным теплом, которое камень сохраняет после целого дня под солнцем. Солнце не доставало сюда, на девять метров вниз. Это было другое тепло: низкое, ровное, будто внутри что-то работало. Глеб однажды чувствовал похожий камень у геотермального источника на Камчатке, где внутренняя печь планеты подходила к поверхности достаточно близко, чтобы кипятить воду.

Но здесь не было геотермальных источников.

Здесь не было ничего.

В этом и был смысл слова “здесь”.

— Геология, — сказал он, потому что очень хотел, чтобы это была геология.

— Геология так не делает, — сказал Хаддад и указал вниз.

За утро они расчистили около метра дна. На открытом участке, выметенном, очищенном кистями и отснятом, шла линия. Совершенно прямая. Оба её конца уходили под ещё не снятый песок, но там, где она была видна, линия казалась

швом в камне: слишком прямым для трещины и слишком тонким для стыка.

И она слабо светилась.

Не отражала свет ламп — нет. В тёплом камне тянулась нить холодного синего сияния, как вена под кожей.

Глеб был биологом. Он много знал о том, почему живое бывает того или иного цвета. Живые существа умели светиться: светляки, некоторые грибы, странные рыбы, висящие в чёрной воде ниже солнечного света. Они делали это с помощью химии — люциферина, люциферазы. Это стоило им энергии. Это что-то означало: партнёра, приманку, предупреждение.

Он никогда в жизни не видел, чтобы светился камень.

Потому что камню нечего сказать.

А этот камень что-то говорил.

—

Чтобы найти края, потребовалось два дня.

К концу второго дня они раскопали дверь.

Глеб упрямо называл её дверью про себя и тут же поправлял себя, потому что слово “дверь” подразумевало здание, а здания здесь не было. Была только она: вмонтированная в лицо тёмного камня, открытого траншеей, плита высотой в два человеческих роста и шириной в полтора.

Но и плитой она не была.

У плит есть зерно, линии разлома, честная неровность высеченного камня. У этой — ничего. Поверхность была бес-

шовной и слегка изогнутой, как большой гладкий камень в реке. Глубокий серо-зелёный цвет чего-то, никогда не видевшего солнца. По всей поверхности тянулись холодные синие нити, ветвились, сходились снова, образуя узор, который эпиграфистка — молодая француженка по имени Люси — фотографировала весь день и так и не смогла прочесть.

— Это не письменность, — сказала она вечером, раздражённо листая свои снимки при свете лампы. — В письменности есть повторения. Символы повторяются: один знак встречается сотни раз, потому что язык использует его снова и снова. А здесь ничего не повторяется. Каждая линия другая.

Она повернула планшет к Глебу, словно он мог знать ответ. Он не знал.

— Это не текст. Скорее... — она искала слово. — Скорее схема. Как будто внутренность чего-то.

Хаддад за эти два дня сильно притих. Он перестал отдавать распоряжения своим обычным лёгким тоном и начал говорить мягко — так говорят рядом со спящим зверем. Ещё Глеб заметил, что Хаддад перестал спать. Он сидел далеко за полночь со спутниковым телефоном в руке и никому не звонил. Когда Глеб спросил об этом, Хаддад ответил лишь, что раскопки финансируются спонсором, у спонсоров есть мнения, а есть люди, которых он обязан уведомить, но пока предпочитает этого не делать.

— Какой спонсор финансирует обследование в пустом

секторе пустыни? — спросил Глеб.

— Терпеливый, — сказал Хаддад.

И больше ничего не добавил.

Глеб не стал давить. У него была своя проблема, и хуже всего было то, что она относилась к его области и не имела смысла.

Дверь была живой.

Не в том смысле, что камень был тёплым. Это он ещё почти мог отнести к геологии, к какой-то глубинной конвекции, которую не понимал. Нет, хуже.

Утром второго дня он сделал то, ради чего его сюда прислали, — взял образец. Осторожно соскоблил материал с поверхности, надеясь найти биоплёнку, экстремофила, хоть что-нибудь, оправдывающее его присутствие. Лезвие оставило на тёмно-зелёной поверхности светлую царапину длиной с большой палец.

Глеб упаковал соскоб, подписал пакет и повернулся, чтобы сфотографировать царапину для отчёта.

Царапина стала короче.

Он сказал себе, что ошибся. Поставил по её краям две булавки — такими он отмечал почвенные участки, — снова сфотографировал с масштабом и ушёл обедать. Вернулся.

Канавка между булавками сомкнулась до тонкой бледной линии.

К вечеру исчезла и она.

Две булавки торчали в гладком тёмном камне на идиот-

ском расстоянии в сантиметр друг от друга, отмечая ничего.

Он никому не сказал. Глеб тоже был осторожным человеком, по-своему, и прекрасно понимал, как это прозвучит.

Стена сама себя исцелила.

Он уже слышал голоса институтской комиссии.

Поэтому он сделал единственное честное: повторил опыт. Взял новый соскоб с нового участка, зафиксировал каждую фотографию по времени и стал смотреть.

Повреждение затянулось за четыре часа и одиннадцать минут.

Глеб сидел на перевернутом ящике и смотрел, как рана в камне закрывается. Где-то под профессиональным ужасом в нём шевелилось маленькое, холодное, биологическое восхищение. Что бы это ни было, оно не было геологией. И оно не было машиной ни в одном понятном ему смысле.

Машины не срastaются.

Срastaется только живое.

Живое делает это клетками, делением, восстановлением — терпеливым чудесным механизмом самого существования. Но клеток здесь не было. Он проверил. Под микроскопом не было ничего, кроме гладкого аморфного минерала, который не имел права делать то, что делал.

Потом он понял, что воздух тоже неправильный.

Воздух у подножия двери был влажным. Едва заметно, но невозможно влажным — в месте, где относительная влажность в полдень измерялась однозначными числами. И пах

он зеленью: прохладным сырым запахом погреба или глубокой пещеры.

Утром третьего дня в тени у двери, там, где собирался свет лампы, Глеб нашёл на камне бледное пятно размером с ладонь. Лишайник. Живой лишайник — мягкий, серый, с лёгким собственным свечением. Он рос на двери в самом сухом месте Земли, питаюсь влагой, которая приходила ниоткуда, в воздухе, который что-то выдыхало.

Глеб соскоблил его в пробирку руками, не вполне уверенными в себе, подписал образец и не дал имени мысли, которая уже складывалась у него в затылке, скрючившись, как скорпион.

Дверь не была входом в гробницу.

Гробница — это место, где мёртвых запечатывают внутри. А эта была запечатана изнутри.

—

— Мы сообщаем, — сказал Глеб.

Была третья ночь, и они спорили. Это было внове: с Хаддадом никто не спорил. Вся команда собралась в столовой палатке, прячась от ветра. Ветер усилился и длинными шипящими волнами швырял песок в брезент. В плохом свете лицо Хаддада казалось старше.

— Мы сообщаем, — повторил Глеб. — Фотографируем всё, отмечаем площадку, отходим за периметр лагеря и ждём людей, которые знают, что это такое. Потому что я не знаю. А ты?

— Никто не знает, что это такое, — сказал Хаддад. — Именно это и делает находку открытием века. Любого века.

— Именно это делает её опасной. Самир, стена заживает сама себя. Воздух влажный. Там растёт то, что не может там расти. Что-то поддерживает эту среду живой. Значит, что-то работает. Значит, мы стоим на глубине девяти метров рядом с машиной, которую не умеем читать, которая старше...

Он беспомощно махнул в сторону планшета Люси.

— Старше всего. И твой инстинкт — открыть её сегодня ночью?

— Мой инстинкт, — тихо сказал Хаддад, — подсказывает, что она уже открывается.

В палатке стало тихо. Только песок шуршал по брезенту.

— Что это значит? — спросил Глеб.

Хаддад достал из куртки спутниковый телефон и положил на стол экраном вверх. На экране была одна линия холодно-синего узора двери, сфотографированная днём. Затем он положил рядом распечатку того же участка, сделанную двумя днями раньше.

Поставил их бок о бок и повернул лампу.

— Люси сказала, что узор не повторяется, — сказал он.

— Она права. Он не повторяется. Но он движется.

Он коснулся старого снимка, потом нового.

— Здесь. И здесь. Нити уже не на тех местах. За три дня они перестроились. Медленно. К центру.

Хаддад поднял глаза. Голод исчез с его лица. Остался

только страх.

— Они сходятся. В одной точке. Посередине двери. Как будто...

Он остановился и заставил себя закончить:

— Как будто замок ищет центр.

Снаружи ветер оборвался разом — так иногда случается в глубокой пустыне, когда весь мир замирает между порывами.

В внезапной тишине Глеб снова почувствовал это. То самое, что он отказывался куда-либо записывать. Низкий ровный гул, который он решил считать работой генераторов.

Но генераторы на ночь отключили, чтобы экономить топливо.

А гул остался.

И был он не в ушах.

Он был в зубах. В длинных костях рук. Вибрация настолько низкая, что у неё не было звука — только присутствие. Она усиливалась с каждым днём раскопок, а теперь, в задержанном дыхании пустыни, стала такой явственной, что Глеб почувствовал: его собственный пульс пытается подстроиться под неё.

Он посмотрел на остальных.

Люси прижала ладонь к груди. Бригадир хмурился в пустоту. Один из рабочих подошёл к пологу и смотрел в сторону траншеи, где лампы снизу бросали в темноту слабое холодное зарево.

— Вы это чувствуете? — спросил Глеб.

Голос его прозвучал неправильно. Тонко.

Он так и не услышал, ответили ли ему.

Земля сдвинулась.

Не дрожью — одним долгим оседанием, будто где-то далеко внизу нечто огромное и терпеливое перенесло вес.

Холодное зарево над траншеей вспыхнуло, разрослось, поднялось по нижней стороне летящего песка, пока вся ночь на севере не засветилась глубоким утопленным синим.

Они выбежали вместе.

Глеб первым добрался до края траншеи и остановился. Остальные налетели сзади. Внизу, у подножия шахты, которую они три недели рыли в песке, дверь стояла открытой.

Её никто не открывал.

Нити нашли свой центр. Бесшовная плита просто разошлась по линии, которой минуту назад не существовало, и без пыли, без звука сложилась в камень по обе стороны — так расширяется зрачок в темноте.

За ней уходил вниз коридор, освещённый неизвестным источником. Он выдыхал в пустынную ночь прохладный зелёный воздух. Его стены были из того же бесшовного серо-зелёного материала, пронизанного теми же холодными синими линиями, и плавно изгибались вниз, в гладкое непрерывное горло.

Ни следа инструмента.

Ни шва.

Ни ступени.

Ни стыка между камнями.

Будто проход не построили, а вырастили.

Или проглотили.

Теперь, когда дверь была открыта, гул обрёл форму.

Это была не работающая машина. Глеб понял это с уверенностью, которая началась в костях и поднялась выше, к разуму. Это пробуждалось что-то живое — или достаточно близкое к живому, чтобы все человеческие различия потеряли смысл.

Оно очень долго ждало, когда его разбудят.

И почувствовало, как они копают.

За его спиной Хаддад произнёс какое-то арабское слово. Очень тихо. Глеб не знал его значения. Так человек производит имя.

Потом они спустились.

Конечно, спустились.

Они были людьми, которые всю жизнь шли вниз именно к этому. Перед ними была дверь. Она была открыта. И ни один из них в тот момент не был способен поступить разумно: уйти обратно в темноту, к ветру, к палаткам, к обычной человеческой ночи наверху.

Глеб пошёл последним.

У края траншеи он остановился — без причины, которую мог бы назвать, — и оглянулся на поверхность. На палатки, вздрагивающие под ветром. На тёмные генераторы. На обыч-

ные звёзды.

Словно какая-то животная часть его хотела сохранить запись.

Потом он спустился в синеву.

А пустыня закрылась над местом, где они были.

И стала ждать.

Конец первой главы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зал

Коридор уходил вниз без ступеней.

Это было первым неправильным, и разум Глеба вцепился в эту деталь, как язык вцепляется в сколотый зуб: снова и снова возвращался к ней, потому что она была достаточно мала, чтобы её удержать.

Пол просто наклонялся — гладкий, сухой, едва тёплый под ногами. Спускался под углом, который не выбрал бы ни один человеческий строитель, потому что ни один человек не захотел бы идти по нему в темноте.

Но темно не было.

Стены хранили в себе холодную синеву — не на поверхности, а где-то в глубине, как свет живёт внутри льда. Этого сияния хватало, чтобы видеть дорогу. Стены изгибались. У них не было углов. Коридор выдыхал вверх прохладный погребной воздух, а Глеб, который три недели доказывал, что здесь нет ничего живого, снова и снова думал одну и ту же бесполезную мысль:

Что-то выдыхает.

Хаддад шёл впереди.

За ним — Люси с поднятым планшетом. Она снимала и что-то тихо, непрерывно говорила по-французски, но Глеб перестал понимать её, как только в голосе у неё появи-

лась дрожь. Следом шёл бригадир, потом двое рабочих, потом Глеб — последним, как всегда. Биолог, плетущийся за людьми, которые будто бы знали, что ищут.

Но никто из них не знал, что они видят.

С каждым метром это становилось яснее.

Это была не гробница. Здесь не было боковых помещений для погребальных даров, расписанных стен, саркофага, никакого аккуратного театра, который живые устраивают для мёртвых. Здесь вообще не было ничего для мёртвых.

Стены были цельными.

Пол — чистым.

Чистым после скольких тысяч лет? Ни песчинки, ни пыли — словно сам воздух выметал проход. И чем глубже они спускались, тем твёрже становилась холодная уверенность Глеба: это место не создавали для того, чтобы в него входили.

Его создали, чтобы оно работало.

И оно работало всё это время — одно, в темноте под пустыней, выполняя то, для чего было сделано. А они не были исследователями.

Они были занозой, вошедшей слишком глубоко.

— Самир, — сказал он. Голос прозвучал плоско в заглушённом воздухе. — Нам надо вернуться.

— Ещё немного, — не оборачиваясь, ответил Хаддад. — Послушай меня. Ещё немного — и мы всё отметим, поднимемся обратно. Обещаю. Но посмотри, Глеб. Просто посмот-

ри, внутри чего мы стоим.

Глеб посмотрел.

Заставил себя смотреть по-настоящему — той частью разума, которая измеряет и заносит в каталог, а не той, что хочет бежать. И от этого стало почти хуже, потому что измеряющая часть сообщила ему: стены не каменные.

Он решил, что это камень. У двери — решил, что это минерал, странный, аморфный, но всё же минерал. Здесь, где синее сияние стало ярче, он увидел структуру поверхности: тонкую, ветвящуюся, повторяющуюся клетка за клеткой. Как кость под линзой. Как внутренность осинога гнезда. Как коралл.

Выращено.

Не высечено.

Весь коридор был выращен — слой за терпеливым слоем — чем-то, что строило так, как строит живое. И холодная синева бежала по этим ветвлениям, как кровь по тонким сосудам тела, которое, как теперь понял Глеб уже не разумом, а желудком, не было мёртвым.

Гул рос весь спуск.

Глеб перестал притворяться, что это генераторы. Теперь он был в стенах, в полу и в его собственной груди — давление ниже звука. Где-то на последних метрах оно перешло черту и стало невыносимым, хотя громче не сделалось: слышать по-прежнему было нечего.

У него ныли коренные зубы. По краям зрения то темнело,

то снова прояснялось — в такт давлению. Под грудиной его сердце начало, с ужасной покорностью, биться в ритм с чем-то в стенах. Замедляться. Устраиваться. Сцепляться с чужим пульсом, как два маятника на одной полке постепенно входят в один ход.

Глеб прижал ладонь к груди.

Это невозможно.

Сердце не подстраивается под здание.

Но его сердце подстраивалось. А остальные, похоже, либо не чувствовали этого, либо чувствовали иначе. Люси перестала говорить, но всё ещё шла, всё ещё держалась на ногах.

И тут Глеба накрыло внезапное головокружительное ощущение: что бы ни тянулось здесь к поверхности, оно тянулось именно к нему. Что ритм нашёл в нём нечто, за что можно ухватиться, и теперь тянул — как магнит вытягивает единственный настоящий кусок железа из ящика с латунюю.

Это не имело смысла.

Он был запасной деталью экспедиции. Человеком, которого взяли считать бактерии. Самым лишним и последним из всех.

И всё же то, что наполняло это место, позволило своему вниманию пройти мимо археологов, мимо лингвистики, которая почти могла прочесть стены, и потянулось — страшно точно — к нему.

Коридор раскрылся.

Раскрылся так же, как дверь: без церемонии. Стены про-

сто выпустили их в пространство слишком огромное, чтобы оно могло помещаться под пустыней, по которой они ходили.

Глеб не видел дальнего края.

Синее сияние разбегалось по полу, который ступенями концентрических колец уходил к центру. Центр он не мог рассмотреть. Кольца были не пусты: на них стояли безмолвные ряды форм, которые взгляд отказывался собирать во что-то понятное. Башни из бледного, выращенного материала. Колонны, пронизанные движущимся светом. Конструкции, назначение которых было так же нечитаемо, как Люси-на не-письменность, но каждая из них несомненно бодрствовала.

Масштаб давил на него сильнее темноты.

Под пустыней была выдолблена пустота, способная проглотить городок. Она молчала, как задержанное дыхание. Холодная синева спадала по кольцам к центру, на котором взгляд не держался — соскальзывал, как соскальзывает с солнца.

Воздух тоже изменился.

Здесь он стал холоднее, влажнее и двигался. Не сквозняком. Медленным, осмысленным круговоротом. Долгим ровным дыханием чего-то очень большого и очень терпеливого, дышавшего в этой темноте с тех времён, когда у их вида ещё не было имени для самого себя.

Когда команда вошла в зал, свет в конструкциях усилился.

Сначала ближе к центру.

Потом дальше.

Кольцо за кольцом вспыхивало наружу, к краям, как лицо светлеет, узнавая того, кто стоит у двери.

— Оно нас видит, — сказала Люси.

Планшет выпал у неё из рук. Она не подняла его.

— Глеб. Оно нас видит.

— Оно ничего не видит, — услышал Глеб собственный голос — голос человека, который держится за перила во время шторма. — Оно реагирует на тепло, движение, углекислый газ. Это система. Системы реагируют. Оно не...

Центр зала проснулся.

Другого слова у него не было бы потом, если бы у него вообще осталось “потом”, до которого можно дотянуться.

Центр проснулся, и давление, поднимавшееся по его костям весь спуск, пришло окончательно. Полное. Всеобъемлющее. Беззвучный взрыв, бросивший каждого из них на пол.

Края зрения Глеба побелели и остались белыми.

Сквозь сужающийся тоннель того, что он ещё мог видеть, он заметил, как бригадир вскочил и бросился назад, к коридору.

Но коридора не было.

Стена за ними стала цельной.

Путь наружу зарос без звука. Дверь мира закрылась, как зрачок сужается на свету.

Рабочие кричали. Глеб видел их открытые рты. Он не слышал их — из-за тишины, что само по себе было невозможностью: рёв, состоящий только из давления.

Свет из центра поднимался по кольцам к ним — к тем, кто стоял, кто падал, кто уже был на коленях.

И там, где он достигал людей...

Глеб не видел, как они умирают.

Он бы понял, если бы это была смерть. Если бы остались тела, кровь, обычная жестокая грамматика катастрофы, какая-то животная часть его обязательно записала бы это и сохранила.

Но ничего такого не было.

Свет коснулся первого рабочего.

Человек был — и в следующее мгновение в зале стало на одного человека меньше.

Так слово сначала есть, а потом его как будто не произносили.

Люси.

Исчезла.

Бригадир, на полпути к двери, которой уже не существовало.

Исчез.

Хаддад стоял на коленях, подняв обе руки — не в жесте сдачи, а словно пытаясь заслониться от огромного сияния. Его рот снова складывал то тихое слово, то имя, которого Глеб не знал.

А потом место, где был Хаддад, стало пустым.

Свет пошёл дальше, через последнее кольцо — к Глебу.

Теперь медленно.

Почти мягко.

Так тянутся за единственной вещью, ради которой пришли.

Его он не стёр.

Это была последняя ясная мысль Глеба, и она пришла вместе с таким абсолютным ужасом, что стала почти покоем:

Меня оно не сотрёт. Ему нужен я.

Давление, всю дорогу охотившееся в его костях, нашло наконец то, что искало, и сомкнулось вокруг этого. Глеб почувствовал не боль — нет. Он почувствовал, как его читают.

Как нечто проходит сквозь него, словно рука — через ящик стола. Уверенно, быстро, окончательно. Сортирует. Находит в его крови то, о чём он никогда не знал и что носил в себе с рождения. И узнаёт.

Левое предплечье обожгло.

Глеб посмотрел вниз сквозь белеющий тоннель зрения и увидел, как под кожей поднимается знак: тонкие линии ветвились и сходились снова. Холодные синие нити двери проступали в его собственной плоти, как водяной знак, поднесённый к лампе. Они складывались в символ, которого он не мог прочесть — и никогда потом не сможет забыть, что однажды, на одно мгновение, понимал его полностью.

В это мгновение он понял.

Понимание хлынуло в него, через него и прочь — быстрее, чем он мог удержать. Всё сразу. Вся форма происходящего: что спало здесь, как долго, зачем, чего ждало, чтобы ему сказали, и что теперь узнало.

Потому что они копали.

Потому что они были громкими.

Потому что дверь открылась.

Потому что ритм дотянулся вверх и нашёл ключ, которого не ожидал найти так рано.

А когда белизна забрала последние остатки зрения, когда зал, кольца и его собственная поднятая рука растворились в сиянии без краёв, знание сжалось до твёрдого ядра. До нескольких слов, впечатанных в него, чтобы он вынес их наверх, в мир, хотя не будет помнить, как туда поднялся.

Наблюдатель пробудился.

Потом не осталось ни Глеба, ни зала, ни света, ни тьмы.

Только белизна.

И долгое тихое сортирование существа, у которого было всё время мира.

Конец второй главы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Образец

У Адама Орлова было правило насчёт паники: почти всегда она преждевременна, а в тех редких случаях, когда нет, всё равно не помогает.

Он держал это правило — фигурально — приклеенным к внутренней стороне черепа и сейчас применял его к человеку за стеклом, который на повышенных тонах объяснял, почему институту необходимо эвакуировать три этажа.

Человек был каким-то заместителем из министерства. Названия таких министерств Адам старался не запоминать. Заместитель прочёл предварительный отчёт и пришёл к выводу, что герметичная стальная колба в руках Адама содержит конец света.

— Это почвенная бактерия, — сказал Адам в интерком. — Она была в этой почве десять тысяч лет. И ещё десять тысяч там пролежит. Интересна она только тем, что переваривает класс антибиотиков, которые мы пока даже не начали использовать. Это увлекательная проблема для научной статьи и никакая проблема для ваших трёх этажей.

— В отчёте сказано: *новый механизм резистентности*.

— В отчёте так сказано потому, что его писал я. И потому что слово “новый” соответствует действительности, а “конец света” — нет. Буду признателен, если вы перестанете путать

мой словарь со своими кошмарами.

Он поставил колбу обратно в гнездо внутри шкафа и дождался, пока сработают замки.

— Идите домой, Павел. Сегодня в этой комнате никто никого не убьёт.

Именно эту часть работы люди никогда не представляли.

Они думали о защитных костюмах, отрицательном давлении, длинных стерильных коридорах. Всё это существовало, но не было работой. Работой было оставаться единственным спокойным человеком в здании, полном людей, которые прочли половину документа и теперь хотели разрешения бояться.

Адам умел это делать.

Ему не раз говорили — и никогда как комплимент, — что он хорош в этом потому, что в нём что-то отключено. Со временем он перестал спорить. Люди, говорившие это, обычно были правы насчёт выключателя и ошибались насчёт причины.

Он снял перчатки, прошёл обработку и уже почти добрался до заслуженного кофе, когда в коридоре его нашла Соня. Она прижимала к груди планшет так, будто не хотела его держать.

— Пришла партия, — сказала она. — Час назад. Дипломатический канал, пометка “биологическая угроза”, сразу к тебе.

— В лабораторию.

— К тебе. По имени.

Она развернула планшет.

— Адам, это странно.

Он взял планшет и начал читать.

Маленькая отключённая вещь в груди отметила, с умеренным интересом, что Соня права.

Цепочка хранения была неправильной ещё до описания содержимого. Биологическая угроза проходит через руки, как эстафетная палочка: офицер отбора, транспортная пломба, таможенное удержание, приёмка института. Каждое звено — имя и время. Бумажный позвоночник, по которому можно провести пальцем.

У этой партии позвоночник начинался двенадцать часов назад.

До этого — ничего.

Она пересекла границу с дипломатической печатью, не указывавшей ни одного посольства. Местом происхождения значилась строка координат в египетской Западной пустыне и одно описание:

человеческие и экологические образцы, место экспедиции, статус персонала неизвестен.

Там, где должен был стоять запрашивающий орган, значился код, которого Адам не знал. А в графе *рекомендуемый аналитик* было напечатано его имя: полностью, с отчеством — так, чтобы исключить любую возможность ошибки.

— Кто отправляет археологические раскопки в лаборато-

рию биологических угроз? — сказал он.

— Тот, кто нашёл на археологических раскопках что-то пугающее, — ответила Соня. Помедлила. — Или тот, кто хотел, чтобы это легло на стол человеку, который не станет задавать раскопкам слишком много вопросов. Там есть примечание. Они хотят, чтобы материал был *изолирован и охарактеризован без огласки*. Их формулировка. Без огласки.

— Без огласки, — повторил Адам.

За пятнадцать лет работы он усвоил: “без огласки” — самое дорогое слово в его профессии. Оно означало, что кто-то выше уровня документов уже знает, с чем имеет дело, и решил: безопаснее всего отдать это человеку с допуском и без живой семьи, которой он мог бы рассказать.

Эта мысль пришла сама — как всегда, с маленькой чистой жестокостью точного наблюдения.

Без живой семьи, которой он мог бы рассказать.

Адам позволил ей пройти насквозь и уйти.

Потому что иначе пришлось бы последовать за ней, а он больше за такими мыслями не ходил.

—

Он снова надел защиту и вскрыл партию один.

Это нарушало протокол.

Он всё равно сделал так, потому что протокол предполагает, что ты доверяешь людям, приславшим материал. Адам не доверял никому, кто печатает его отчество.

Внутри были пробирки. Запечатанные тканевые блоки.

Пакет минеральных соскобов, подписанный аккуратным кириллическим почерком: *Г. Северин, экол. обследование*. Рядом — отдельно упакованная пробирка с чем-то бледным и мягким, на этикетке: *биологический рост, in situ*. Карта памяти. И один жёсткий футляр размером с колоду карт, с биологической пломбой, но без подписи.

Именно к нему взгляд Адама возвращался снова и снова.

Именно его он отложил в сторону первым.

Двадцать лет работы научили его: предмет, которому никто не решился дать название, обычно и есть главный. А он пока не был готов узнать, какое название понадобилось бы этому.

Он начал с самого разумного — с соскобов.

Минералы безопасны. Минералы скучны. Адам очень хотел, чтобы всё оказалось скучным.

Он подготовил стекло. Посмотрел в микроскоп.

Отключённая вещь в груди включилась.

Это был рефлекс, вросший в него за двадцать лет: когда глаз находит знакомую структуру — *вот клеточная стенка, вот оболочка споры, вот честная геометрия жизни, делающей то, что жизнь делает*, — разум узнаёт её раньше мысли.

Теперь глаз потянулся к знакомому и не нашёл, за что ухватиться.

Образец не был мёртвым минералом. В нём была структура: тонкая, ветвящаяся, повторяющаяся. Архитектура че-

го-то выращенного.

Но это не была архитектура, которой он мог дать имя.

Не бактериальная. Не грибковая. Не биоплёнка. Не минеральная матрица, ловко притворяющаяся живой тканью. Она была организована так, как организована живая ткань, но состояла не из того. Двадцать лет подготовки стояли перед ней и молчали.

Адам откинулся на спинку стула.

Он сказал себе, что это загрязнение. Или артефакт подготовки. Или усталость.

Не поверил ни одному слову.

Потому что выключатель включился. А выключатель не включался из-за артефактов.

Он должен был остановиться. Выспаться. Утром посмотреть ещё раз холодным взглядом.

Вместо этого он взял карту памяти.

Аналитику в нём нужен был контекст. Всё остальное — та часть, за которой он не ходил, — уже почувствовало первый тонкий сквозняк чего-то давно забытого: особое головокружение, возникающее на краю вещи, слишком большой для комнаты.

На карте были фотографии.

Траншея в пустыне.

Дверь — он бы назвал её дверью — в тёмном камне: высотой в два человеческих роста, пронизанная узором холодных синих линий. Его взгляд, только что оторвавшийся от мик-

роскопа, узнал этот узор с внутренним рывком. Та же ветвящаяся геометрия. Та же неправильная архитектура. Увеличенная со стекла до размеров сооружения.

Были снимки узора за несколько дней. Кто-то выложил их в последовательности, и даже Адаму, не обученному именно этому, было видно: линии двигались между кадрами. Ползли к центру двери, как опилки к магниту.

Последней шла фотография бумажки, добавленной, судя по всему, в спешке перед запечатыванием партии.

На ней было написано:

Не гробница. Оно работало.

Адам долго смотрел на эти слова.

Потом — потому что устал; потому что геометрия двери упрямо казалась ему знакомой, хотя он не мог вспомнить откуда; потому что горе — терпеливое животное, ждущее именно того момента, когда защита истончится, — он вспомнил.

Он видел этот узор в блокнотах отца.

—

Домой он не вернулся. Скорее перестал быть в лаборатории.

Квартира встретила его такой же, какой он её оставил: жильё человека, который нигде не живёт, спит там, где позволяет работа, а дом использует как место для хранения вещей, которые не смог выбросить.

Большинство этих вещей лежало в одной коробке, в шка-

фу в прихожей. Коробка стояла нетронутой одиннадцать месяцев, с похорон.

В. ОРЛОВ — бумаги.

Его собственная надпись. Именно он разбирал отцовскую квартиру. Один. Упаковал жизнь отца в одну коробку с деловой эффективностью человека, отказывающегося что-либо чувствовать. Принёс домой, поставил в шкаф и больше не трогал.

Виктор Орлов последние десять лет жизни публично ошибался.

Это была самая мягкая формулировка, на которую хватало Адама.

Его отец — когда-то серьёзный историк, человек с кафедрой, репутацией и осторожным умом — постепенно, а потом стремительно превратился в того, кто вставал на конференциях и объяснял: человеческий род не первая разумная цивилизация Земли. Были другие. В нечитаемо далёком прошлом. До вида. До рода. Они оставили следы, и эти следы находили снова и снова, а потом снова и снова хоронили люди, не желавшие, чтобы их нашли.

Он повторял фразу *non primi sumus* — *мы не первые* — до тех пор, пока коллеги в коридорах не начали произносить её вместо его имени.

Он потерял кафедру.

Потерял репутацию.

Адам — тогда ещё молодой человек с новой жёсткой дис-

циplinой и ужасом перед тем, что он сын своего отца, — позволил ему потерять остальное. Отвечал на поздние звонки всё короче. Потом перестал отвечать. И говорил себе, с той чистой жестокостью, в которой был так хорош, что защищает свою работу от заражения.

Мать Адама умерла, когда ему было девять.

Это была рана под раной. Первичная. Причина — он понимал это и отказывался использовать как оправдание, — по которой Виктору в конце концов понадобилось, чтобы вселенная что-то скрывала. Чтобы у мира была тайна размером с дыру, оставленную потерей.

Адам просто выбрал другой способ жить в этой дыре.

Он решил, что вселенная ровно настолько мала и объяснима, какой кажется, и построил карьеру на том, что говорил это испуганным людям.

Он опустился на колени и открыл коробку.

Блокноты лежали почти сверху. Дюжина тетрадей в тканевых обложках, исписанных от края до края мелким, упорным отцовским почерком. И сквозь текст — на полях, между строками, иногда на отдельных страницах — шли рисунки.

Адам видел их сотни раз в детстве и перестал замечать, как перестают замечать обои.

Ветвящиеся линии.

Неповторяющиеся узоры.

Схемы, которые отец, по его словам, копировал с вещей, показанных ему, но не позволенных забрать.

Адам положил лабораторную фотографию рядом с раскрытым блокнотом: дверь из египетской пустыни — рядом с рисунком, сделанным отцом за годы до смерти.

И сел на пятки в холодной квартире, глядя на то, как два изображения оказываются одним и тем же.

Одиннадцать месяцев он не открывал эту коробку, потому что боялся спрятанного в ней горя.

Теперь понял: горе было меньшей из двух вещей, которые ждали внутри.

Большая заключалась в том, что отец — разрушенный человек, которому он перестал отвечать, позор семьи, человек, дважды похороненный миром: сперва под потерянной кафедрой, потом под землёй, — всё это время говорил правду.

А Адам, гордившийся тем, что следует за доказательствами, куда бы они ни вели, оказался одним из тех, кто его хоронил.

В ту ночь выключатель больше не погас.

—

Звонок раздался в четыре утра — в час, который мир отводит для новостей, не желающих ждать, пока ты выступишь.

Это была Соня. Голос у неё был осторожный — значит, ей велели быть спокойной, и она очень старалась.

— Есть выживший, — сказала она. — С раскопок. Один из них вернулся.

Адам уже сидел на кровати.

— Вернулся откуда? В партии было сказано: статус персонала неизвестен.

— Был неизвестен. Теперь — один. Он вышел из пустыни через два дня после потери связи. Пешком. Без припасов. Один. Его держат в изоляции и везут сюда, потому что...

Она остановилась. Адам услышал, как она выбирает слова.

— Потому что у него что-то под кожей. И потому что он не перестаёт говорить. А люди, у которых он сейчас, хотят, чтобы его посмотрел тот, кто разбирается в биологии и не станет повторять сказанное.

— Что он говорит?

На линии на секунду стало тихо.

В эту секунду Адам почувствовал, как комната наклоняется к вещи, слишком большой, чтобы в ней помещаться. Почувствовал, как сам склоняется над краем, с которого его отец падал всю жизнь.

— Одно и то же, — сказала Соня. — Снова и снова. Он говорит: Наблюдатель пробудился.

Пауза.

— И говорит, что ключ уже среди нас. А потом спрашивает тебя. По имени.

Конец третьей главы.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

ВЫЖИВШИЙ

Выжившего поместили в комнату, рассчитанную на нечто куда хуже человека.

Адам узнал тип помещения с первого взгляда: мобильный изолятор. Такие привозят на край вспышки заболевания и прикручивают к ближайшему зданию — отрицательное давление, двойные шлюзы, стеклянная стена между пациентом и теми, кто решает, что с ним делать.

Изолятор без объяснений поставили в служебном дворе за военным госпиталем на кольцевой дороге. Люди, встретившие Адама у ворот, не носили знаков различия и не попросили документов. Значит, они уже точно знали, кто он.

Говорил один.

Ничем не примечательный — в том нарочитом смысле, в каком бывают непримечательны люди, чья работа состоит в том, чтобы их забывали. Лет сорок пять. Хорошее пальто. Лицо, которое через час трудно будет описать. Имени он не назвал. Просто передал Адаму планшет с кратким отчётом и смотрел, как тот читает, — так человек смотрит на собаку, решая, укусит она или нет.

— Документов при нём не было, памяти, к которой мы могли бы получить доступ, тоже, — сказал человек. — Мы знаем его только по спискам экспедиции. Глеб Северин, био-

лог, гражданин России. Был объявлен пропавшим вместе с остальной группой. Через шесть дней вышел к блокпосту в двухстах километрах от места раскопок. Пешком. Без воды. Без признаков обезвоживания и истощения, соответствующих такому переходу. Он не помнит своего имени. Не помнит экспедицию. По всем тестам перед нами здоровый мужчина тридцати с небольшим лет.

Пауза.

— Ещё он умирает. Мы не знаем от чего. И хотели бы, чтобы вы посмотрели на него раньше, чем это случится.

— Я не врач, — сказал Адам.

— У нас есть врачи. Они занимаются им тридцать часов и ничего не понимают.

Впервые глаза человека двинулись — почти с чувством.

— Мы привезли вас из-за того, что у него под кожей. И потому что он спрашивает вас.

—

За стеклом Глеб Северин сидел на краю койки с раскрытыми ладонями на коленях, будто ждал, что ему что-то дадут.

Первая мысль Адама была профессиональной: этот человек выглядел истощённым так, как не выглядит ни одна отдельная болезнь. Лицо человека, выгоревшего до фитиля. Так бывает при голоде, терминальном раке, глубокой старости — только в карте значилось тридцать четыре года, и тело, если не считать этого, соглашалось с картой.

Вторая мысль была о руке.

Узор поднимался по внутренней стороне левого предплечья и исчезал под рукавом больничной рубахи: тонкие линии, ветвящиеся и снова сходящиеся, цвета синяка, увиденного изнутри.

Только синяки не светятся.

А этот — едва заметно — светился.

Холодная синяя нить была уложена в плоть. Та же архитектура, что на стекле микроскопа. Та же, что на фотографиях двери. Только теперь она была размером с человеческую руку и находилась внутри человека, под целой, неповреждённой кожей.

— Подкожное, — сказала врач у плеча Адама.

Молодая женщина с усталым лицом, явно уже отказавшаяся удивляться.

— Входных ран нет. Рубцов нет. Татуировки нет. Иностранного тела мы не видим: ни МРТ, ни УЗИ ничего не показывают. Оно словно существует только на глубине света — видно глазом и больше ничем. Вчера взяли пункционную биопсию.

Она помедлила.

— Отверстие закрылось за три часа. Узор вырос заново.

Адам несколько секунд молчал.

Он чувствовал, как маленькая отключённая вещь в груди, не умолкавшая с той ночи в лаборатории, наклонилась вперёд.

— Самовосстановление, — сказал он.

— У меня нет слова лучше.

У него было.

Из отцовских блокнотов.

Но он не собирался произносить его в служебном дворе, перед незнакомыми людьми, которым требовалось, чтобы всё осталось тихо.

Вместо этого он надел защиту.

Делал всё методично, как делал всегда. Методичность была стеной, которую он возводил между собой и комнатой. Он знал это. И всё равно строил.

Внутри воздух был мёртвым и ровным — таким бывает воздух после мощной фильтрации.

Глеб Северин поднял голову.

Его глаза нашли Адама — и остановились.

Это не был взгляд больного, увидевшего врача. Адам знал, как на него смотрят умирающие. В их взгляде всегда есть обращённость внутрь, будто человек уже наполовину повернулся к двери, которую остальные не видят.

Здесь было обратное.

Всё внимание Глеба поднялось, вышло наружу и сосредоточилось на Адаме с таким полным, таким радостным узнаванием, что на одно головокружительное мгновение Адам был уверен: он уже встречал этого человека и забыл. Что ошибка памяти — его, а не пациента.

— Вы пришли, — сказал Глеб.

Голос был сухим, как шелуха.

— Я говорил им. Говорил, что вы придёте.

— Вы меня не знаете, — мягко сказал Адам, потому что стена требовала мягкости. — Мы никогда не встречались. Меня зовут Адам Орлов. Я здесь, чтобы помочь, если смогу.

— Знаю.

Глеб улыбнулся.

И это было страшно, потому что улыбка была настоящей — тёплой, уверенной, — на лице человека, который умирал.

— Больше я ничего не знаю. Не знаю...

Он нахмурился. Улыбка дрогнула: человек сунул руку в карман и обнаружил, что кармана нет.

— Не знаю собственного имени. Они сказали мне имя. Оно не кажется моим. За ним ничего нет. Вообще ни за чем ничего нет.

Он посмотрел на свои раскрытые ладони, как на чужие.

— Оно забрало всё. Всё, чем я был. И оставило...

Он поднял помеченную руку, повернул её так, чтобы холодные линии поймали свет.

— Оставило это. И оставило вас.

Адам медленно опустился на корточки, чтобы оказаться с ним на одном уровне, и заставил себя смотреть на него как на человека, а не как на образец.

Это стоило дороже, чем он ожидал.

Потому что Глеб смотрел на него так, как никто не смотрел на Адама много лет: будто Адам был тем, ради кого стоило выйти из пустыни. И Адам, поймав на себе этот взгляд

умирающего незнакомца, вдруг понял, что забыл, каково это — когда на тебя вообще смотрят так.

— Что забрало? — спросил он.

— То, что в глубине.

Глеб сказал это просто, как говорят о погоде.

— То, что ждало. Мы копали, и оно почувствовало, как мы копаем. Оно проснулось. Посмотрело на всех нас и...

Его ладонь поплыла к груди, легла на неё — старый жест, о котором Адам не мог знать, что Глеб уже делал его в пустынной палатке.

— Оно стёрло их. Остальных. Протянулось в зал и стёрло их, как слова. Но не меня.

Страшная улыбка вернулась.

— Во мне оно что-то нашло. Что-то, о чём я не знал. И меня оно не стёрло. Оно пометило меня и отправило наверх. Передать сообщение.

Он наклонился вперёд.

Его рука сомкнулась на запястье Адама — с силой, которой не должно быть у умирающего.

Глаза Глеба были абсолютно ясными.

— Хотите сообщение?

За стеклом врач замерла. Неприметный человек не шелохнулся. Комната задержала своё отфильтрованное дыхание.

— Да, — сказал Адам.

— Наблюдатель пробудился.

Глеб произнёс это так, как повторяют единственное, что сумели сохранить.

— И ключ уже среди вас.

Его хватка усилилась.

Он не отрывал взгляда от лица Адама, а следующие слова пришли уже не как заученная фраза. Они были новыми. Казалось, он сам узнаёт их в тот миг, когда произносит.

Глаза его расширились — медленно, с ужасом узнавания.

— Это вы. Я не понимал там, наверху, я не... Но теперь, глядя на вас, я... Это вы. Вы — ...

Он не договорил.

Синий свет в его руке погас.

Адам видел это совсем близко. Достаточно близко, чтобы видеть точно. Позже он долго будет отказываться от того, что видел: холодные ветвящиеся линии потускнели все сразу, как цепь, из которой вынули ток. Сияние стало синяком, синяк — тенью, тень — ничем. Узор расписался из плоти обратно в пустоту за две секунды.

И вместе с последним светом ушёл Глеб Северин.

Борьбы не было.

Рука на запястье Адама просто потеряла силу. Человек за глазами исчез — так комната пустеет после того, как из неё кто-то вышел. Тело сложилось на койку, всё ещё сохраняя остаток улыбки.

Сработали тревожные сигналы.

Врач уже была рядом с Глебом. Другие люди входили че-

рез шлюз — быстро, но контролируемо. Адам остался на корточках на одну секунду дольше, чем следовало. Смотрел на голое предплечье мёртвого человека, где мгновение назад была структура, которая сама себя восстанавливала и свети-лась, а теперь была только кожа.

Чистая.

Обычная.

Словно на ней никогда ничего не было написано.

Вы — ...

Фраза не имела конца.

Адамов разум, ненавидевший незавершённое так же, как ладонь ненавидит отсутствующую ступень, подставил к ней десяток окончаний и отверг все. Потом начал подставлять новые.

Он сказал себе, что последние слова умирающего ничего не значат. Что мозг, сбивающийся у края тьмы, цепляется за любое лицо и называет его знакомым.

Адам умел говорить себе вещи. На этом он построил целую жизнь.

Но этот человек смотрел на него и узнавал нечто достаточно настоящее, чтобы умереть, произнося это. И недосказанное слово осталось в Адаме там, куда он не мог дотянуться, — как заноза, вошедшая слишком глубоко: тело со временем просто учится её носить.

—

Они хотели забрать тело.

И забрали.

С такой скоростью и таким отсутствием бумаг, что это сказало Адаму больше, чем все слова неприметного человека. В течение часа Глеб Северин перестанет, с административной точки зрения, когда-либо выходить из пустыни.

Адам понимал это в общем и не смог заставить себя бороться в частном. Потому что частное было служебным двором, людьми без знаков различия и его бесполезным правилом насчёт паники.

Но кем бы он ни был, он оставался аналитиком, указанным в документах. Партия была направлена ему. Поэтому, когда он сказал — ровным голосом, тем самым, которым говорил с заместителями министров, — что ему необходимы кровь и ткань до того, как тело исчезнет из поля зрения, для *характеризации*, которую они сами просили выполнить *без огласки*, никто из присутствующих не имел полномочий сказать “нет”.

Он взял образцы сам.

Три пробирки крови.

Свежий тканевый цилиндр с той части руки, где была метка.

Подписал их своей рукой, положил в собственный контейнер и больше контейнер не отпускал.

Неприметный человек проводил его к воротам.

Московская ночь имела плоскую оранжевую неправильность города, который никогда полностью не темнеет. Адам,

так долго проживший с выключенным внутри механизмом, что перестал замечать сам выключатель, вдруг обнаружил: пальцы на контейнере дрожат.

— Результаты направите по каналу, указанному в манифесте, — сказал человек.

Это не было вопросом.

— И вы понимаете, что этот разговор, как и пациент, не происходил.

— Он смотрел на меня так, будто знал, — сказал Адам.

Он не собирался произносить это вслух.

Человек несколько секунд рассматривал его забываемыми глазами. Что-то прошло в них — то ли жалость, то ли расчёт. Скорее всего, и то и другое.

— Да, — сказал он. — Смотрел. Езжайте домой, доктор Орлов. Проверьте образцы. А когда найдёте то, что собираетесь найти...

Он открыл ворота.

— Помните, что мы просили вас держать это в тайне. И помните, что мы знали раньше вас: это будете именно вы.

—

Домой Адам, конечно, не поехал.

Он отправился в лабораторию. Было два часа ночи. Он запустил быстрый прогон крови Глеба Северина — тот самый, который за час даёт грубый контур генома. Грязный, неполный, непригодный для публикации, но достаточный, чтобы понять, к какому семейству жизни относится материал.

Машина работала свой час.

Адам пил остывший кофе и смотрел, как строится кривая. Длинная знакомая лестница человеческого генома собиралась из шума: основание за основанием, самая прочитанная последовательность на Земле.

И стена, которую он возводил, держалась.

Потому что здесь, по крайней мере, была вещь, которую он знал. Кровь человека читалась как кровь человека — обычная в своей чудесной обычности. Что бы ни сделали с Глебом Северином, это сделали *с* ним, а не *в* нём. Адам сможет написать осторожный отчёт о неизвестной подкожной патологии и уснуть.

Потом лестница перестала быть лестницей.

Это случилось в участках, по которым его взгляд обычно скользил по привычке: длинные тихие промежутки между генами, места, где человеческий геном должен быть человеческим, скучным и похожим на геном любого другого человека.

Там была последовательность, которой не должно было быть в человеке.

Это не было загрязнением. Загрязнения приходят обрывками — сломанной грамматикой чего-то, случайно попавшего в образец. А здесь всё было чисто.

Встроено.

Последовательность сидела в хромосоме так, будто всегда там жила. Структурированная. Намеренная. Организован-

ная с той же ветвящейся уверенностью, что и узор на стекле микроскопа. Только теперь записанная алфавитом жизни — и говорящая нечто, чего жизнь на Земле никогда не говорила ни на одном языке.

Адам поставил остывший кофе на стол.

Выключатель, два дня наклонявшийся вперёд, включился окончательно.

И комната, которую он всю карьеру удерживал маленькой, беззвучно выросла во что-то без стен.

Он запустил анализ сна.

Второй прогон подтвердил первый.

Конец четвёртой главы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Не человек

Сомнение — это дисциплина.

Адам был дисциплинированным человеком. Поэтому следующие три дня он делал всё, что только мог, чтобы доказать самому себе: он ошибся.

Именно этого, как ему всегда казалось, отец так и не понял. Или понял — и отбросил. Ценность странного результата определяется тем, с какой яростью ты нападаешь на него, прежде чем поверить.

Человек, которому хочется, чтобы мир что-то скрывал, найдёт тайну везде.

Человек, которому нужна правда, сначала обязан предположить, что ошибся сам, — а потом искать свою ошибку с настоящей надеждой её найти.

Адам искал с настоящей надеждой.

Не нашёл.

Он начал с очевидного греха.

Загрязнение.

Первый, грязный прогон был сделан в два часа ночи уставшим человеком. А уставшие люди переносят последовательности через стол на перчатках, реагентах, собственной слущенной коже. Поэтому Адам полностью отбросил первый результат и начал заново.

Чисто.

Новая экстракция из замороженной крови Глеба Северина. Рядом — набор отрицательных контролей: вода, буфер, пустая пробирка, касающаяся только воздуха. Если странная последовательность была призраком на его столе, она должна была проявиться и в пустых образцах.

Пустые образцы вернулись пустыми.

Кровь снова вернулась неправильной.

Он убил следующее объяснение: будто последовательность была фрагментом чего-то случайно попавшего в образец. Почвенный микроб из египетских соскобов. Вирус. Экзотический пассажир.

Фрагменты выдают себя.

Они лежат отдельно от генома хозяина — оборванные, явно чужие. Генетический эквивалент чужого пальто, забытого в вашей прихожей.

Здесь было не так.

Когда Адам построил карту и посмотрел, где именно находится странная последовательность, она находилась *внутри*. Была вплетена в собственные хромосомы Глеба Северина, с обеих сторон обрамлена обычным человеческим кодом и сидела в архитектуре человека так, будто была там с самой первой клетки, из которой он возник.

Нельзя загрязнить чей-то образец так, чтобы загрязнение оказалось внутри хромосомы.

Либо эта последовательность всю жизнь была в геноме

Глеба Северина, либо что-то поместило её туда — чисто, точно, в живого человека — способом, на который не способна ни одна лаборатория Земли.

Затем он убил базу данных.

Именно это объяснение он хотел больше всего. Что последовательность известна. Каталогизирована. Какая-нибудь редкая опубликованная странность, с которой он просто не сталкивался. Что утро поиска даст название, статью и возвращение в маленький объяснимый мир.

Он прогнал её через всё.

Через все секвенированные организмы.

Через все архивы.

Через всю накопленную генетическую память планеты.

Были почти-совпадения — они есть всегда. Обрывки, рифмующиеся то с одним геном, то с другим.

Но целиком эта вещь не совпадала ни с чем.

Не человек.

Не обезьяна.

Не млекопитающее.

Не позвоночное.

Не какая-либо ветвь дерева жизни, которую жизнь до сих пор позволила людям прочесть.

Она была организована как жизнь. Пользовалась теми же четырьмя буквами, что и жизнь. И лежала в каталоге всего живого, когда-либо прочитанного на Земле, как слово на неизвестном языке: написано знакомым алфавитом, но озна-

чает то, чего никто никогда не произносил.

Именно тогда Адам перестал называть это результатом. Против собственной воли он начал называть это *видом*.

—

Ему нужны были чужие глаза.

И эти глаза не могли принадлежать никому внутри института, потому что институт был частью канала. А канал велел ему молчать.

Он долго сидел в тёмной лаборатории, размышляя, а потом зашифровал данные и отправил их маршрутом, не имевшим отношения к работе, Анне Феррис.

Они учились вместе в другой жизни и остались теми друзьями, которые могут не говорить годами, а потом продолжить с середины фразы. Теперь Анна руководила генетической группой в Берлине: чистой, хорошо финансируемой и совершенно не связанной ни с какой цепочкой хранения, где фигурировало имя Адама. Из всех людей, которых он знал, она лучше всех умела читать геномы.

Он отправил ей последовательность без контекста.

Без Глеба.

Без пустыни.

Без двери.

Только с вопросом, который первым задаёт любой честный учёный:

Скажи, где я ошибся.

Ответ пришёл в три утра по берлинскому времени.

Значит, она тоже не спала.

Ты нигде не ошибся, написала она. Хотела бы я сказать обратное. Я прогнала это тремя способами. Оно реально. Оно встроено. Его нет ни в одной базе, потому что оно не от чего-либо из известных баз. Адам, что это? Откуда ты это взял?

Он сидел и смотрел на экран.

Две независимые лаборатории.

Два метода.

Два человека, всю жизнь учившиеся быть неправыми правильно.

А мир отказался снова стать маленьким.

Правило двойного подтверждения существует именно для того, чтобы человек не обманул сам себя одной странной ночью. Теперь подтверждение у него было.

И он почти жалел об этом.

Он уже набирал осторожный, ничего не значащий ответ, когда пришло второе сообщение.

И оно изменило форму пола под его ногами.

Ещё одно, и потом я тебе звоню, написала Феррис. Я уже видела куски этого. Не целиком — фрагменты, короткие участки. В людях. Здоровых людях. Два года назад мы делали педиатрический скрининг: обычные дети, никаких патологий. У нескольких нашлись короткие последовательности, которые определились как неклассифицируемые. Мы списали их на артефакт, потому что что ещё оставалось

делать? Я с тех пор о них не думала — до этой ночи. Адам, часть этого уже ходит внутри обычных людей. Никто не знает. И, кажется, я одна из, может быть, трёх человек на свете, кто вообще посмотрел на это второй раз.

Адам не позволил себе додумать эту мысль до конца.

Потому что в конце был обрыв.

Он набрал:

Не звони. Больше ничего не пиши. Я приеду.

Потом стёр *Я приеду*, потому что понятия не имел, кто теперь видит его сообщения.

Заменил на:

Будь осторожна, А.

Отправил.

И возненавидел то, насколько этого мало.

—

К утру поводок затянулся.

Адам понял: осторожное “ничего”, которое он собирался отправить по каналу, было бы ложью, уже пойманной на подготовке.

Запись о партии исчезла из системы института.

Не была помечена.

Не была ограничена.

Исчезла — словно её никогда не принимали.

Доступ к логам быстрого секвенатора вернул ошибку прав. А потом Соня нашла его у рабочего стола. Лицо у неё побелело. Она говорила низко и быстро: днём, пока его

не было, приходили двое мужчин в хороших пальто. Очень вежливо спрашивали, делал ли доктор Орлов копии своей работы, обсуждал ли случаи с кем-нибудь и где находятся бумаги его отца — здесь, в институте, или у него дома.

— Его *бумаги*? — сказал Адам. — Они спрашивали про бумаги моего отца?

— По имени. — Руки Сони дрожали. — Адам, кто эти люди?

Он не ответил.

Потому что ответа у него не было.

И потому что ответ, складывавшийся в глубине черепа, был тем самым, который он пятнадцать лет запрещал себе допускать.

Он вспомнил неприметного человека во дворе госпиталя.

Мы знали раньше вас: это будете именно вы.

Тогда Адам принял это за бессмысленную угрозу чиновника.

Но это не было бессмысленным.

Они выбрали его не потому, что он хорош, осторожен и одинок.

Они выбрали его из-за фамилии.

Из-за того, *чья* это фамилия.

Они отдали невозможную кровь мертвеца единственному аналитику на Земле, чей отец разрушил свою жизнь, доказывая, что именно такое существует.

И стали смотреть, что сделает сын.

У Адама было две копии всего.

Одну он спрятал в первую ночь, инстинктивно, в месте, которое не индексировала ни одна система.

Вторую он теперь понял: ему *разрешили* оставить.

Так оставляют приманку.

—

Вечером он сидел в холодной квартире отца, разложив блокноты по полу, и боялся.

Но боялся он не людей в хороших пальто.

Он боялся потому, что узнавал себя.

Всё было здесь.

Не ответ — у Виктора Орлова его не было. Или он не записал его там, где Адам мог найти. Но здесь была *поза*.

Человек у лабораторного стола в три часа ночи.

Странный результат, отказывающийся сжиматься обратно до нормального размера.

Растущая уверенность, что маленький объяснимый мир поддерживается искусственно — людьми, которые приходят, задают вежливые вопросы и заставляют записи исчезать.

Адам видел, как отец шёл этой дорогой в темноту. Называл это безумием. Позволил ему идти одному.

Теперь он сам стоял на той же дороге — с тем же выражением лица.

И единственная разница между ними — единственная — была в том, что Адам держал в руках кровь, доказывающую: отец не сошёл с ума.

Все эти годы он думал, что самым жестоким было бы узнать: отец ошибался во всём.

Он совершенно не был готов к тому, насколько хуже узнать, что отец был прав.

Адам читал до глубокой ночи, искал метод — и находил его везде.

Виктор был скрупулёзен. Гораздо скрупулёзнее, чем когда-либо понимали коллеги, смеявшиеся над ним. Он сопоставлял находки на разных континентах и в разных веках, выстраивал доказательство с терпением человека, заранее знающего, что ему никто не поверит.

И через всё это — страница за страницей — тянулись ветвящиеся схемы. Та самая не-письменность. Та же архитектура, что была на стекле, на двери и под кожей мёртвого человека.

Её рисовал историк, который никогда не держал в руках секвенатор.

Который каким-то образом увидел форму генома за десятилетия до того, как его сын прочёл её в хромосоме.

Как?

Как отец мог нарисовать внутренность клетки, которую не мог видеть?

—

Оставалось одно объяснение, которого Адам ещё не убил. Самое унижительное.

Именно поэтому он оставил его напоследок.

Что проблема — в нём самом.

Не загрязнение образца: это он исключил. А загрязнение *интерпретации*. Он был сыном человека, одержимого этим. Вырос среди этих схем. На каком-то уровне, который презирал в себе, хотел, чтобы отец оказался прав.

Было возможно — едва, почти невозможно, но всё же возможно, — что какая-то его личная ошибка, бессознательное смещение в подготовке или чтении данных, собирает из шума узор, которого менее проклятый аналитик никогда бы не увидел.

Феррис подтвердила, что последовательность реальна. Но она не подтвердила, что всё остальное — вид, интеграция, вся головокружительная конструкция — не является тем, как двое старых друзей пугают друг друга через границу в три часа утра.

Это можно было проверить.

Самым чистым контролем.

Геномом, за который он мог поручиться абсолютно: образец, взятый собственными руками, под собственными глазами, не имеющий никакого отношения ни к пустыням, ни к дверям, ни к мёртвым людям.

Настоящий ноль.

Известная человеческая база, на фоне которой странная последовательность либо выступит, либо растворится.

Его собственный геном.

Это было почти смешно.

Старейший контроль в биологии: когда сомневаешься в тесте, проверь себя.

Он делал это сотню раз студентом — мазок со своей щеки как бодрый отрицательный контроль в десятке опытов.

Вот как выглядит обычное.

Теперь он подготовил его так же, как тогда: методично, спокойно, восстанавливая стену одним точным движением за другим.

Мазок.

Экстракция.

Чистая пробирка в машине рядом с последней кровью
Глеба Северина.

Два образца.

Невозможное и обычное.

Бок о бок.

Утром у него будет базовая линия. Вся конструкция либо выдержит сравнение, либо рухнет. И в любом случае он наконец, милосердно, узнает.

Он запустил прогон.

Потом лёг на кушетку в углу лаборатории и впервые за три дня уснул.

И впервые в жизни — хотя он поймёт это лишь через недели и ещё дальше будет сопротивляться пониманию — ему приснился сон.

Небо цвета старой крови.

Башни — увиденные на миг и тут же исчезнувшие, —

склонённые к тёмному морю. Бледные, странные, словно не построенные, а выращенные.

Низкий аккорд под всем. Он чувствовал его скорее зубами, чем слышал.

И сквозь всё это — огромное, терпеливое, не злое — ощущение, что его *помнят*.

Что-то очень долго ждало, когда он уснёт достаточно глубоко, чтобы до него можно было дотянуться.

Он дважды всплывал из сна — мокрый от пота, с уверенностью, что где-то был.

И дважды говорил себе, что это всего лишь напряжение.

И снова проваливался вниз.

В темноте, на лабораторном столе, машина читала — основание за терпеливым основанием — как выглядит обычное.

Конец пятой главы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Метка

Он проснулся раньше, чем машина закончила работу, — так просыпаются за несколько минут до будильника, которого боятся.

Адам лежал на кушетке в сером лабораторном рассвете, слушал, как работает секвенатор, и говорил себе: через двадцать минут у него будет базовая линия. И вместе с ней — рассудок.

Вот как выглядит обычное.

В молодости он прогонял собственный геном не раз. Знал его так, как знают собственный почерк. Это была единственная последовательность на Земле, которая не могла его удивить.

Прогон завершился.

Он приготовил кофе и не выпил.

Сел за экран, открыл сравнение: кровь Глеба Северина слева, собственный образец справа. Невозможное рядом с обычным. И сделал то, что его глаз делал десять тысяч раз: потянулся к длинным тихим участкам между генами, туда, где человек должен быть человеком — скучным, обычным, похожим на каждого другого человека, когда-либо жившего.

Оно было там.

Сначала он не понял.

Разум — обученный и упрямый — настаивал: он загрузил не тот файл. Дважды запустил образец Глеба. Перепутал пробирку.

Адам проверил.

Руки стали холодными и точными.

Ошибки не было.

Образец справа был его. Мазок со щеки, который он взял у себя сам, под собственными глазами, из собственного рта, в чистую пробирку. Самый чистый контроль в биологии.

И в нём — вплетённый в его собственную хромосому, с обеих сторон обрамлённый обычным человеческим кодом, который он носил всю жизнь и ни разу по-настоящему не смотрел, — сидел фрагмент той же ветвящейся архитектуры.

Не всё, что было у Глеба.

Но часть.

Длинная, осмысленная часть.

Встроенная.

Структурированная.

Его.

Он был частью этого.

Пятнадцать лет он был человеком, который вставал между испуганными людьми и тем, чего они боялись, и спокойно говорил им:

Это меньше, чем вам кажется. Всегда меньше.

Он верил в это так, как другие верят в Бога.

И доказательство того, что он ошибался — не в отдель-

ном случае, а в самой форме мира, — пришло к нему не из пустыни. Не из запечатанного зала. Не из руки мёртвого человека.

Оно пришло из его собственного рта.

Он сам взял его мазком с внутренней стороны щеки — самый чистый контроль в биологии.

Вот как выглядит обычное.

То, за веру во что уничтожили его отца, всё это время тихо жило внутри Адама. Всё то время, пока Адам отказывался в это верить.

Кофе остывал рядом с его рукой.

Где-то в коридоре открылась и закрылась дверь. Кто-то над чем-то рассмеялся. Обычное утро обычного здания продолжалось вокруг него, а Адам Орлов сидел неподвижно в самой его середине.

И маленькая отключённая вещь в груди, всю неделю наклонявшаяся вперёд, наконец сорвалась вниз.

—

Он прогнал анализ снова, потому что был собой.

Второе чтение подтвердило первое.

Потом он сделал экстракцию из второго мазка и запустил её на другой платформе — так требовало правило. Так он сам требовал от каждого результата, который когда-либо имел значение.

Третье чтение тоже подтвердило первое.

Загрязнения не было.

Артефакта не было.

Не существовало такой версии осторожного, дисциплинированного, яростного сомнения, на котором он построил жизнь, которая могла бы сделать так, чтобы последовательности там не оказалось.

Он нёс её.

Всегда нёс.

Что бы ни произошло с Глебом Северином в темноте под пустыней — что бы ни протянулось к человеку, *узнало* его, пометило и отправило наверх искать лицо, — оно узнало это лицо не случайно.

Причина была записана в крови Адама.

И неприметный человек во дворе госпиталя знал это раньше, чем Адам взял первую пробырку.

Мы знали раньше вас: это будете именно вы.

Не из-за его осторожности.

Не потому, что он был одинок.

А потому, что он сам был образцом.

Потому что где-то в каталоге здоровых обычных людей, ходивших по миру с короткими неклассифицируемыми фрагментами внутри и ничего об этом не знавших — дети Феррис, те, о ком никто не подумал дважды, — Адам Орлов был не аналитиком.

Он был записью.

Феррис сказала, что у детей фрагменты были короткими.

Куски. Короткие участки.

У Адама участок не был коротким.

Он положил рядом два человеческих набора: детские фрагменты, которые Анна прислала для сравнения, и собственный. Разница была не просто количественной — она была настолько большой, что превращалась в качественную.

Там, где дети несли фразу, он нёс абзац.

Там, где у них было слово из непроизнесённого языка, у него было предложение — длинное, цельное, структурированное.

И у него не было такой рамки понимания, в которой подобное могло быть случайностью.

Значит, оно должно было откуда-то прийти.

В этом была единственная милость его подготовки: даже падая, она тянулась к причине.

Последовательность, встроенная в хромосому, обрамлённая обычным кодом и присутствующая с первой клетки, не могла быть приобретённой.

Она была *унаследованной*.

Пришла к нему от родителя — как глаза, как маленькая жестокая ясность в груди.

Родителей было двое.

Один провёл последние десять лет жизни, утверждая, что мир скрывает именно это.

Другая умерла, когда Адаму было девять, и стала — в оставленной ею дыре — тишиной, вокруг которой построилась вся семья.

Кто из них?

Вопрос возник целиком.

И был ужасен.

Кто из них нёс это?

Кто знал?

Кто передал ему — и ничего не сказал?

—

В квартиру он поехал при полном, уродливом свете позднего утра. Быстро. Без сна.

Поднимаясь по лестнице, Адам понял, что теперь осторожен так, как прежде не был: проверяет улицу, лестничную площадку, замок.

Потому что двое мужчин в хороших пальто спрашивали Соню, где бумаги его отца.

Бумаги были здесь.

И теперь здесь был он.

Блокноты лежали там, где он оставил их: раскрытые на полу холодной квартиры. Адам опустился среди них на колени и посмотрел на схемы так, как не позволял себе смотреть ни на что одиннадцать месяцев: всем вниманием сразу, без единой защиты.

Его отец нарисовал внутренность клетки, которую не мог видеть.

Два дня Адам говорил себе, что это невозможно. Что где-то скрыто объяснение. Но теперь, когда та же последовательность читалась из его собственной крови, невозможность

свернула в то что-то куда более страшное:

это не было невозможным.

Виктор Орлов рисовал ветвящуюся архитектуру снова и снова, год за годом. Тот же узор, что жил на стекле, на двери, под кожей Глеба Северина, в собственной хромосоме Адама.

И рядом с рисунками, своим мелким неумолимым почерком, он оставлял подписи — слова, по которым Адам всю жизнь скользил взглядом, считая их бредом человека, потерявшего нить:

Метка хранителей. То, что записано в крови избранных линий. Non primi sumus.

Отец не потерял нить.

Он держал единственную настоящую нить в комнате, полной людей, тянувших за украшения.

А его сын — осторожный, дисциплинированный сын, построивший целую личность на отказе быть похожим на него, — отпустил его руку, ушёл и назвал это гигиеной.

Адам сидел на полу квартиры мёртвого отца и чувствовал, как в нём ломается что-то, что он одиннадцать месяцев удерживал целым самым простым способом: не открывал коробку.

Это было не совсем горе.

С горем он справился бы. Он умел справляться.

Это была вина без крышки.

Особая, невыносимая вина человека, который был жесток с другим именно в том месте, где тот оказался прав. Её нель-

зя было уложить, потому что человек, которому она предназначалась, уже одиннадцать месяцев лежал в земле. И Адам уложил его туда не меньше, чем рак, — понемногу, каждым коротким ответом, каждым звонком, на который не ответил.

— Ты не был безумцем, — сказал он холодной квартире, блокнотам, никому.

Голос прозвучал неправильно.

— Ты не был безумцем. Я знал, что тебе плохо, и сказал себе, будто это одно и то же, потому что так было проще, чем перезвонить.

Квартира не ответила.

И уже никогда не ответит.

—

Страницу, которая отличалась от остальных, он нашёл, когда собирал блокноты.

Он собирался забрать все — теперь, сегодня, до того как кто-нибудь в хорошем пальто решит задавать вопросы менее вежливо.

Лист лежал свободно, вложенный в конец последней тетради. Бумага была плотнее обычной. На первый взгляд — снова та самая не-письменность: плотный блок ветвящихся знаков, целые абзацы, именно то, за что отец лишился кафедр.

Адам почти убрал лист к остальным.

Потом его взгляд — взгляд аналитика, человека, двадцать лет читавшего алфавит жизни, — зацепился за то, за что ни-

когда не могли зацепиться насмешливые коллеги отца.

Они не читали геномы.

Это была не не-письменность.

Это была последовательность.

Когда он заставил себя читать знаки так, как читал каждый день, они распались на четыре буквы.

На основания.

На кодоны.

На грамматику гена.

Их выстроил человек, который никогда не держал в руках секвенатор, но которого кто-то — ясно, терпеливо, точно — *научил* этой грамматике. И он использовал её, чтобы написать сообщение на единственном языке, который его сын-генетик однажды не сможет принять за бессмыслицу.

Для Адама.

Только для Адама.

Никто другой из живых не догадался бы прочесть историческую схему как цепь ДНК.

Виктор закодировал её, зная — *зная*, — что наступит день, когда его сын будет сидеть именно здесь, держать именно этот лист и иметь ровно ту подготовку, чтобы перевести его.

Потому что вещь в крови выйдет на поверхность.

Потому что мир направит её к единственному аналитику, чья фамилия сделает его образцом.

Потому что сын наконец, слишком поздно, придёт искать.

Руки Адама дрожали, когда он переписывал текст.

Машина была не нужна. Он мог читать сам — медленно, про себя, как ребёнок складывает первые буквы.

На это ушёл час.

Квартира вокруг темнела.

Когда он закончил, Адам сидел и смотрел на то, что оставил ему отец: последние слова человека, которого он бросил, написанные единственными чернилами, которым тот доверял настолько, чтобы сын не отвернулся.

Если ты читаешь это единственным алфавитом, в который когда-либо верил, значит, всё началось. А меня уже нет. И я прошу прощения за то, что это означает: они пришли за работой, а работа привела их к тебе. Я так старался этого не допустить и смог только отсрочить.

Ты не тот, кем себя считаешь. И твоя мать тоже не была той, кем ты её считал. Я не лгал тебе о ней, сердце моё. Лгали мне. И я всю жизнь пытался понять как. Но так и не нашёл дна.

Не иди к тем, кто предложит объяснить. Они все придут. Все будут добры. И все будут хотеть одного и того же. Сначала найди человека, который научил меня писать это. Он не боится ничего, кроме того, что его найдут. И он единственный, кто никогда ничего у меня не просил.

Его имя ты уже знаешь. Ты видел его во сне раньше, чем научился читать.

А ниже шла одна-единственная строка ветвящихся зна-

ков, оставленная без перевода.

Не предложение, понял Адам, считая основания.

Имя.

Короткое.

Странное.

Оно не складывалось ни в один язык живых.

И когда Адам прочитал его, то понял, что не может произнести вслух. Потому что в ту же секунду, как глаз собрал его, у него похолодело в затылке, а за веками поднялось красное небо — огромное, горящее, над городом, которого он никогда не видел и каким-то образом знал всегда.

Он видел это во сне.

Отец был прав и в этом.

Снаружи, на улице под холодной квартирой, тихо хлопнула дверца машины.

Так закрывают дверь осторожные люди.

Потом хлопнула вторая.

Адам сложил страницу.

Взял блокноты.

Взял скрытую правду в собственной крови.

Взял имя, которое не мог произнести.

И спустился по чёрной лестнице — в мир, который перестал быть маленьким, — чтобы найти человека, чьё имя знал раньше, чем научился читать.

Конец шестой главы. Конец первой части.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Метка

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Цепочка хранения

Хитрость исчезновения, как выяснил Адам, заключалась в том, чтобы думать о нём как о деконтаминации.

В деконтаминации он разбирался.

Логика была той же, только вывернутой наизнанку: вместо того чтобы удерживать опасное внутри чистого периметра, ты удерживаешь чистое — себя — вне заражённого пространства. Считаешь любую поверхность скомпрометированной, пока не доказано обратное. Двигаешься только в одном направлении: от грязного к чистому. И никогда не возвращаешься туда, что уже запечатал.

Ко второму дню он перестал думать о людях в хороших пальто как о тех, кто охотится на него. Он начал думать о них как о фронте заражения, движущемся с известной скоростью. Эта перемена успокоила руки: фронт можно моделировать.

Телефон он оставил в припаркованном трамвае.

Снял максимум наличных, который позволяли автоматы, — тремя операциями в двух районах, — а потом перестал пользоваться картами. Снял комнату над шиномонтажом на восточной окраине города у человека, который сдавал жильё по понедельно, просил наличные и имя. Настоящего он не получил.

У Адама была копия всего — геном Глеба, его собственный, подтверждение Феррис, фотографии. Он спрятал её в первую ночь, инстинктивно, и теперь был благодарен себе за этот инстинкт. Накопитель был достаточно мал, чтобы его можно было проглотить, и лежал там, где его не индексировала ни одна система: внутри запечатанной референсной пробирки в морозильнике, который на бумаге никому не принадлежал.

Он забрал его на третью ночь, в темноте, и подтвердил то, что уже подозревал.

Другая копия — очевидная, та, что осталась в институте в запертом столе, — была приманкой.

И приманку забрали.

Замок был поцарапан. Накопитель исчез. А на его месте, аккуратно, там, где небрежный человек ничего бы не оставил, лежало единственное сообщение, которое преследователи пока соизволили ему отправить.

Ничего.

Пустое место, тщательно устроенное.

Мы были здесь. Мы терпеливы. Мы позволили тебе сохранить остальное, потому что хотим увидеть, куда ты это понесёшь.

Адам понял сообщение.

И всё равно забрал остальное.

Потому что больше не существовало места, куда можно было бы нести это, кроме как в сторону отца.

—

В первую ночь он вынес из института одну вещь, не значившуюся ни в одном списке, потому что по-настоящему в списке её никогда и не было.

Жёсткий футляр.

Маленький.

С биологической пломбой и без этикетки. Тот самый, который он заметил в партии и не открыл. Когда записи начали стирать, Адам сунул его в карман с плоской уверенностью человека, спасающего единственный предмет, за которым кто-нибудь обязательно вернётся.

Теперь он открыл его в комнате над шиномонтажом, под лампой, в перчатках — потому что старые привычки были единственными, которые у него остались.

Внутри, в ложементе из пены, лежал фрагмент.

Осколок зала.

Он понял это прежде, чем смог бы объяснить как. Так же, как узнал дверь на фотографиях. Так же, как его тело теперь знало вещи, к которым разум приходил с опозданием.

Это был кусок выращенного серо-зелёного материала, не больше большого пальца. Сломанный край — чистый и светлый. Сквозь него, тонко ветвясь и снова сходясь, проходили холодные синие нити. Сейчас они светились слабо, но не погасли, будто вещь несла в себе небольшой заряд и медленно тратила его в темноте.

Осколок был чуть тёплым.

И, как понял Адам, оставался чуть тёплым все дни, пока лежал запечатанный в футляре и ехал через границу. Не получая ничего. Просто тёплый — как бывает тёплым живое.

Он повернул фрагмент под лампой и заметил: с момента фотографий в деле сломанный край едва заметно округлился. Начал *заживать*. Расти обратно к той форме, от которой был оторван. Так медленно, что на закрытие ушла бы человеческая жизнь.

Но Адам не сомневался: он закроется.

Он собирался держать его запечатанным, работать в перчатках, соблюдать научную дистанцию.

Но на вторую ночь, вопреки всем своим привычкам, снял перчатку и коснулся осколка голой рукой.

Тусклые нити проснулись навстречу его пальцу.

Не ярко.

Едва.

Только слабое разгорание по ближайшим к коже ветвлениям — так растение тянется к окну. Стоило ему убрать руку, свет снова потускнел.

Он проверил это так, как проверял всё.

Тепло лампы.

Собственный пульс, согревающий перчатку.

Руку хозяина комнаты, которую он одолжил под предлогом, когда тот поднялся за арендой.

Осколок не ответил ни на что.

Только на него.

Адам снова запечатал футляр — с осторожностью, которая уже перестала быть процедурой и стала чем-то ближе к страху.

Потому что фрагмент той вещи, что в темноте протянулась в человека и *узнала* его, теперь, в съёмной комнате над шиномонтажом, потянулся к Адаму.

И тоже его узнал.

Он сидел и смотрел на кусок невозможного, тёплый в его ладони, защищённой перчаткой, и думал:

Вот что им нужно. Не данные. Данные можно стереть. А это они не могут создать. И не могут позволить, чтобы это нашли. А я держу это в съёмной комнате над шиномонтажом.

Он убрал фрагмент обратно в футляр.

И больше не выпускал его дальше, чем на расстояние вытянутой руки.

—

Теперь работой стали блокноты.

Они были единственной картой, которая у него оставалась. Адам читал их так, как когда-то читал геномы: искал не то, что отец сказал, а то, что не смог не записать. Непроизвольные данные. Следы, оставленные на полях намерения.

И там был он.

Не названный.

Виктор был слишком осторожен. Или слишком напуган. И сама осторожность становилась информацией.

Год за годом в записях появлялась фигура, проходившая по полям, как водяной знак.

Посетитель приходил снова. Он не позволит себя фотографировать, и я перестал просить. Он исправил моё прочтение третьей последовательности; был терпелив, как всегда, словно терпение для него не добродетель, а факт — как рост.

Дальше, уже позже, почерк стал более дрожащим:

Сегодня я спросил, почему он помогает мне, если ему так дорого стоит находиться рядом с любимым, кто записывает. Он сказал: остальные его рода отказались от нас, а он — нет. И что отказ — единственный грех, в который он ещё верит. Он никогда ничего у меня не просит. За тридцать лет — ни разу. Я не знаю, что с этим делать. Это пугает меня сильнее, чем люди, которые мне угрожают: что в мире есть существо, которое ничего от меня не хочет и всё равно помогает.

Существо.

Отец написал *существо*, зачеркнул — и написал снова.

Тридцать лет.

Посетитель приходил к Виктору Орлову тридцать лет.

Значит, началось это, когда Адам был ещё мальчиком. Когда его мать была жива. До той постановочной скорби, вокруг которой построилась их семья.

Адам дважды перечитал даты, чтобы убедиться.

Посетитель появился до утраты.

Посетитель знал его родителей.

Посетитель научил опозоренного историка писать алфавитом жизни, чтобы десятилетия спустя сын смог прочесть сообщение, которое больше никто бы не прочитал.

А это означало: посетитель тридцать лет назад знал, что сын будет существовать. Что он станет именно тем, кем стал. И однажды ему понадобится именно это.

Такое не устраивают.

Не за тридцать лет.

Не с терпением, которое является фактом.

Такое можно устроить только в одном случае: если ты уже знаешь, куда идёт история.

—

Но адреса не было.

Ни имени.

Ни номера.

Ни тайника с кирпичом, который надо поднять, — ничего из шпионской механики, на которую Адам наполовину надеялся.

Потому что посетитель был не тем, кого находят.

Все записи сходились в одном:

Он приходит, когда приходит. Я ни разу не добрался до него сам. Только он добирался до меня.

Два дня Адам вертел эту задачу, как запечатанную колбу, и искал вход.

Не нашёл.

И впервые почувствовал настоящий край отчаяния: след, по которому нельзя идти, хуже отсутствия следа.

Единственное, что хоть отдалённо напоминало метод, он нашёл в последнем блокноте — том самом, где лежала генетическая страница.

Но это тоже был не адрес.

Это было описание.

Он находит их по снам, писал отец. Так в конце концов он нашёл меня — не через работу, через сон. Есть люди, которым снится красное небо и горящий город. Они не знают почему. Просыпаются в страхе и никому не рассказывают, потому что кому расскажешь? Он ходит среди них. Слушает их. Они его — не его народ, но его подопечные, как стадо принадлежит пастуху. Сновидцы. Рассеянные, напуганные, не знающие друг о друге. Он проходит среди них, как слух. Если тебе когда-нибудь понадобится найти его, а меня уже не будет, не ищи его. Ищи их. Найди других, кто видит во сне то, что теперь начал видеть ты, сердце моё, — да, я знаю, что ты начал; я видел, как ты не спишь, — и он уже будет там. Или придёт. Потому что мы — единственное, от чего он ещё не отказался.

Адам положил блокнот.

Он начал видеть этот сон.

Отец знал и это.

Смотрел из тишины, которую Адам выстроил между ними. Видел, как сын начинает просыпаться в страхе от крас-

ного неба над городом, который ни один из них не имел права знать. И ничего не сказал — потому что Адам не позволил. Потому что каждый звонок получал всё более короткий ответ, пока звонки не прекратились.

Вина теперь лежала плоской ладонью на груди.

Почти привычной.

На том самом месте, где у Глеба Северина жило давление сна.

Теперь оно жило в нём.

Адам не знал, где посетитель.

Но посетитель приходил туда, где были сновидцы. Адам был сновидцем. Значит, поиск всё-таки имел форму.

Не *найти человека* — это невозможно.

А *найти остальных*.

Это было всего лишь очень трудно.

И тут он понял: начало списка у него уже было.

Не от отца.

От Анны Феррис, две ночи и целую жизнь назад, в сообщении, которое он сам велел ей больше не отправлять:

у нескольких были короткие последовательности, определившиеся как неклассифицируемые... обычные дети, никаких патологий.

Она проверяла детскую когорту и обнаружила — сама не понимая, что обнаружила, — рассеянных сновидцев.

Маленьких.

Напуганных.

Не знающих друг о друге.

Именно таких, как описывал отец.

Они ходили внутри обычных жизней, неся в крови слово
непроизнесённого языка.

У Феррис был список.

Феррис в Берлине, которой он велел больше ничего не пи-
сать. Феррис, которая не знала, что та странность, замечен-
ная ею два года назад и забытая, этой ночью делает её самым
опасным знанием в трёх городах.

Адам потянулся за телефоном.

Потом вспомнил, что бросил его в трамвае.

И его желудок сжался.

Он должен был добраться до неё раньше фронта зараже-
ния.

А сам только что потратил три дня, чтобы сделать себя
невозможным для поиска.

И с той же тщательностью сделал невозможным предупре-
дить кого бы то ни было.

Конец седьмой главы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Берлин

Лея Марен видела достаточно подстроенных несчастных случаев, чтобы знать: настоящие всегда грязнее.

У реальных катастроф есть подпись глупости. Подпёртая пожарная дверь. Просроченный огнетушитель. Кабель, который кого-то трижды просили заменить. Это истории о людях, ведущих себя как люди, — и читаются они именно так.

То, на что она смотрела сейчас, стоя на выгоревшем третьем этаже Института молекулярной генетики с пресс-бейджем, на который технически не имела права, и респиратором, купленным за свои деньги, так не читалось.

Это читалось как эссе.

Химический пожар начался в лаборатории Анны Феррис немного после одиннадцати вечера. Был достаточно горячим, чтобы забрать комнату, и достаточно прохладным, чтобы пощадить коридор. И в той случайной манере, в какой пожары на самом деле никогда себя не ведут, он сосредоточил внимание ровно на столе, морозильнике и серверном шкафу, принадлежавших одному исследователю.

Спринклеры на этой стороне этажа с вторника находились на техническом обслуживании. Заявку на обслуживание подал подрядчик, о котором Лея уже успела узнать за два звонка: других клиентов у компании нет, сайта нет, а юридиче-

ский адрес — почтовый ящик в Лихтенштейне.

— Слишком чисто, — сказала она никому.

Это была привычка. Лея разговаривала с местами преступлений так, как другие разговаривают с собаками.

Она пришла сюда не из-за Анны Феррис.

Вот об этом потом, в плохие часы, она будет думать снова и снова.

Она пришла из-за денег.

Восемь месяцев Лея тянула нитку из благотворительной структуры под названием Фонд Lumen — гладкой, щедрой, безупречно обложенной юристами организации, которая раздавала гранты на генетику и исследования долголетия по всей Европе и просила взамен совсем немного: тихое место в нужных комитетах и право просматривать результаты до публикации.

Лея не верила в филантропов, которым нужно право просматривать результаты до публикации.

Она верила в людей, которые платят за право решать, что миру позволено знать.

Восемь месяцев она пыталась доказать, что Фонд Lumen именно из таких. И не продвигалась ни на шаг, потому что каждая нитка, за которую она тянула, растворялась в очередной прокладке, трасте, юристе в очередной налоговой гавани. Вся конструкция была устроена так, будто её создал кто-то с огромным запасом времени и аллергией на видимость.

Лаборатория Анны Феррис брала деньги Lumen.

Только поэтому имя Феррис вообще оказалось в файлах Леи: строка, грант, не больше. А потом Феррис сгорела в пожаре, похожем на эссе, и Лея почувствовала тот особый холодный провал в животе, которому за двадцать лет научилась доверять больше, чем любому документу: ощущение, что маленький скучный факт вдруг поворачивается и становится дверью.

—

Институт не хотел с ней разговаривать.

Это было обычным.

Необычным было то, *как* он не хотел с ней разговаривать.

Такая смерть должна была породить шум. Скорбящих коллег. Злого представителя профсоюза. Декана, выпускающего заявления о проверке безопасности. Человеческий фон учреждения, потерявшего своего сотрудника и напуганного тем, что его могут обвинить.

Ничего этого не было.

Был пресс-офис, который отвечал на её звонки быстро и вежливо. Три разных голоса за два дня произнесли одни и те же три фразы — так, будто читали с карточки.

Трагический несчастный случай.

Любимая коллега.

Полное расследование ведётся, результаты ожидаются, комментариев больше не будет.

Гладкость этого ответа скребла ей по зубам.

Горе не бывает гладким.

Прикрытие бывает.

В конце концов она нашла неровность там, где находила всегда: внизу. Среди людей слишком младших, чтобы им выдали карточку.

Его звали Йонас.

Он был докторантом и работал за два стола от Феррис. Согласился встретиться с Леей в кафе в Кройцберге, потому что, как сказал сам, не спал с той ночи, а все в институте перестали смотреть ему в глаза.

Ему было двадцать шесть. Он был сильно напуган и всё время держал обе руки вокруг чашки кофе, к которой так и не притронулся.

Лея, научившаяся быть мягкой ровно настолько, насколько мягкость полезна, позволила ему говорить.

Последнюю неделю Феррис вела себя странно, сказал он. Сначала рассеянно, потом резко, потом снова рассеянно. Она подняла из холодного архива старые данные — педиатрический скрининг двухлетней давности, какой-то побочный контракт, который лаборатория выполнила и отложила. Несколько дней она сидела над ним после работы, одна, хотя обычно так не делала.

Однажды, почти мимоходом, она сказала Йонасу голосом, который пытался звучать легко, но не получалось, что нашла нечто, что должна была заметить ещё два года назад, и теперь рада, что тогда не заметила, потому что некоторые вещи безопаснее не замечать.

Он спросил, что она имеет в виду.

Феррис ответила:

Ничего, забудь. Я поговорила со старым другом, и он заставил меня шарахаться от теней.

А на следующий день к ней пришли двое мужчин.

Не полиция.

Не университет.

Люди в хороших пальто, попросившие поговорить с ней наедине.

После их ухода Феррис отменила все дела до конца дня, ушла домой рано и вернулась только в ту последнюю ночь — одна, после одиннадцати, в здание, где спринклеры так удачно оказались отключены.

Резервной копии не было, сказал Йонас.

Именно этого никто не произносил вслух.

Исследовательский институт хранит всё в зеркалах, с тройным резервированием. Это политика. Это закон. Но работа Феррис просто — полностью и всеобъемлюще — перестала существовать.

Локальные диски сгорели.

Институциональное зеркало было “повреждено в ходе того же инцидента”, хотя зеркала в другом здании так не работают.

Облачный архив был очищен с учётной записи самой Феррис — с корректным логином и временной меткой через девяносто минут после того, как коронер зафиксировал время

её смерти.

Мёртвая женщина аккуратно удалила дело своей жизни через полтора часа после того, как перестала быть живой.

— Кто-то хотел, чтобы её данные исчезли, сильнее, чем хотел, чтобы это выглядело естественно, — сказала Лея.

Йонас посмотрел на неё с особой надеждой очень молодых людей — надеждой, что теперь взрослый что-нибудь сделает.

— Есть копия, — сказал он.

—

Копия была небольшой.

Один лист. Распечатанный.

Феррис, сказал Йонас, была в этом смысле старомодной. Любила бумагу. Говорила, что нельзя удалить то, что лежит в ящике.

Он нашёл лист, потому что за неделю до пожара она попросила его заламинировать его — маленькая странная просьба, о которой он тогда не задумался. Ламинат всё ещё лежал у него в сумке в ночь пожара и потому стал единственной вещью на свете, о которой осторожные люди не знали, что её нужно стереть.

Он протянул лист через стол.

Лея посмотрела на последний уцелевший фрагмент работы убитой женщины и поняла примерно треть. Это было на треть больше, чем она ожидала.

Генетическая распечатка — такую форму она знала по

сотне других расследований. Быстрые пометки раздражённым почерком. Выделенная последовательность.

Рядом Феррис написала:

НЕКЛАССИФИЦИРУЕМО — не загрязнение, встроено.

Слово *встроено* было подчёркнуто дважды.

Рядом шла колонка кодовых номеров, и через мгновение Лея с новым холодным провалом поняла: это не абстрактные образцы.

Это дети.

Анонимизированные. С ID-номерами. Но дети.

Скрининговая когорта. Здоровые дети. Обычные дети.

Напротив нескольких номеров Феррис поставила маленькую жёсткую звёздочку, а внизу страницы обвела то, из-за чего её убили:

Одна и та же последовательность у всех отмеченных несовершеннолетних. Не случайно. Наследуется. Кто скринингует это и зачем они оплатили нам поиск?

Лея прочитала трижды.

Она была хороша в своей работе, а значит, умела чувствовать размер вещи до того, как понимала её. Эта вещь была очень большой.

Фонд, который платит за поиск скрытого генетического маркера у здоровых детей. Женщина, заметившая этот маркер, исчезает в пожаре-эссе. Вместе с каждой следом тех детей, у которых она его обнаружила.

Это была не история о коррупции.

Коррупция — это деньги, ведущие себя плохо.

Здесь деньги вели себя *целенаправленно*.

С масштабом и терпением, которых у денег обычно не бывает. К цели, которую Лея пока не видела. И именно это незнание подняло волосы у неё на руках.

— Йонас, — сказала она очень мягко.

И на этот раз действительно была мягкой, потому что мальчик передал ей живую вещь и сам этого не понимал.

— Кто финансировал педиатрическую когорту? Побочный контракт. Чьё имя там стоит?

Он сказал.

Через Lumen, конечно. Через две прокладки, уже лежавшие у неё в файлах. Но первоначальный контракт — тот, который юристы фонда похоронили под слоями оболочек, тот, который Йонас видел ровно один раз, потому что ему пришлось форматировать таблицу, — называл конечного заказчика.

Того, кто на самом деле хотел, чтобы несколько тысяч европейских детей тихо проверили на последовательность, которой официально не существовало.

— Компания, — сказал он. — Большая. Биотех. Мой научный руководитель говорил: никогда не произноси это имя вслух в здании.

Он произнёс его вслух в кафе.

Очень тихо.

А напротив него Лея Марен наконец записала это имя —

своим личным сокращённым почерком, так же, как записывала имя каждой двери, когда-либо открывшейся перед ней.

Она знала это имя.

Оно стояло на стеклянных башнях в девяти городах. На фасаде того самого здания, где ей прошлой весной отказали в интервью. Имя, означавшее долголетие, генную терапию и светлое чистое будущее. Имя, которое любили рынки и боялись регуляторы.

AURIX.

—

В ту ночь ей написал мужчина, которого она никогда не встречала.

Сообщение пришло через канал для источников: зашифрованное, неотслеживаемое, от аккаунта, состоящего только из набора цифр.

Четыре строки.

Он написал, что она правильно боится.

Что пожар был третьим за этот год, а до него были другие — учёные, историки, все, кто слишком долго смотрел на то, что несут дети.

Он написал: если она продолжит тянуть нитку, её убьют. Чисто. Как Феррис. И её смерть тоже будет эссе. И никто, кроме тех, кто это сделает, никогда не узнает, что её убили.

А потом написал:

Но если вы из тех женщин, которые всё равно тянут — а я читал ваши работы, Лея Марен, и думаю, что вы именно

такая, — то в Москве есть человек, который только что нашёл в собственной крови то, что Анна Феррис нашла в этих детях. Он бежит. Он не знает о вас. Вы не знаете о нём. А люди, охотящиеся за вами обоими, очень хотели бы, чтобы так и осталось.

Лея прочитала сообщение дважды.

Затем сделала то, что стоило ей двух браков и едва не стоило жизни. То, о чём её редакторы молились, чтобы она однажды перестала это делать. То, что сделало её лучшей в Европе в своём деле.

Она не удалила сообщение.

Не сообщила о нём.

И не убежала.

Это была не смелость.

Она перестала называть это смелостью много лет назад — где-то после второго развода, когда пришлось признать: более храбрая женщина знала бы, когда остановиться, а более мудрая хотя бы хотела бы остановиться.

В ней жило нечто более узкое и куда менее удобное.

Она не выносила открытых дверей.

Другие люди могли смотреть, как маленький скучный факт превращается в вопрос, и разумно позволить ему снова закрыться. Лее это не удавалось ни разу: ни в двадцать три, с её первым испуганным министром, ни теперь.

Она точно знала, куда ведёт это свойство.

Оно только что привело Анну Феррис в огонь.

Лея прочитала имя мёртвой женщины рядом с именем живого мужчины и поняла: знание того, куда это ведёт, ничего в ней не меняет.

И немного испугалась себя.

Как пугалась всегда в начале.

Она забронировала билет.

Конец восьмой главы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Один и тот же сон

Как оказалось, у сна был форум.

Адам нашёл его так же, как теперь находил всё: за чужим компьютером в публичной библиотеке на другом конце города, расплачиваясь за анонимность мелким унижением очереди за подростками и отворачивая лицо от камер.

Он не рассчитывал найти что-нибудь.

Он ожидал обычного ответа интернета на странный личный опыт: шум, астрологию, людей, которым снятся умершие питомцы.

Он набрал сон вместо того, чтобы поверить в него:

красное небо, горящий город, под землёй, ощущение, что тебя зовут.

Набрал с презрением человека, выполняющего обязательную проверку собственного безумия.

Презрение не пережило первой страницы.

Это было маленькое место, тихий угол большого сайта — из тех форумов, которые нарастают вокруг вещи слишком конкретной, чтобы быть модой, и слишком устойчивой, чтобы её можно было игнорировать.

Люди писали там годами.

И все они, каждый, описывали его сон.

Не общий смысл.

Именно *тот* сон.

В деталях. В одних и тех же деталях, возвращённых незнакомцами на шести языках, людьми, которые никогда не встречались.

Небо цвета старой крови.

Город бледных выращенных башен, склонённых к морю.

Уверенность после пробуждения, что что-то огромное находится *внизу*.

И что оно знает твоё имя.

Одна ветка, тянувшаяся четыре года, состояла почти целиком из попыток нарисовать символ, который все продолжали видеть. Рисунки были неуклюжими, разными, сделанными домохозяйками, дальнобойщиками и отставным священником из Лиона, — но все они, безошибочно, изображали ту самую ветвящуюся не-письменность, которую Виктор Орлов рисовал в своих блокнотах и которая проступила под кожей Глеба Северина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.